

**А.Е.ЗАРИН**

НА ИЗЛОМЕ

История в романах

Андрей Зарин

**На изломе**

«Public Domain»

1901

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Зарин А. Е.**

На изломе / А. Е. Зарин — «Public Domain», 1901 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03420-6

Писатель и журналист Андрей Ефимович Зарин (1863–1929) родился в Немецкой колонии под Санкт-Петербургом. Окончил Виленское реальное училище. В 1888 г. начал литературно-публицистическую деятельность. Будучи редактором «Современной жизни», в 1906 г. был приговорен к заключению в крепости на полтора года. Он является автором множества увлекательных и захватывающих книг, в числе которых «Тотализатор», «Засохшие цветы», «Дар Сатаны», «Живой мертвец», «Потеря чести», «Темное дело», нескольких исторических романов («Кровавый пир», «Двоевластие», «На изломе») и ряда книг для юношества. В 1922 г. выступил как сценарист фильма «Чудотворец». Роман «На изломе», представленный в данном томе, повествует о бурных событиях середины XVII в. Раскол церкви, народные восстания, воссоединение Украины с Россией, война с Польшей – вот основные вехи правления царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03420-6

© Зарин А. Е., 1901  
© Public Domain, 1901

# Содержание

Часть первая	6
I	6
II	12
III	15
IV	18
V	21
VI	24
VII	27
VIII	30
IX	34
X	37
XI	41
XII	44
XIII	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# **Андрей Ефимович Зарин**

## **На изломе**

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

## Часть первая Походы

### I

#### У заплечных дел мастера

В грязном углу Китай-города на Варшавском кряже под горой находилось страшное место, обнесенное высоким тыном. Московские люди и днем-то старались обойти его подальше, а на темную вечернюю пору или, упаси Боже, ночью не было такого сорвиголовы, который решился бы идти мимо этого проклятого места.

Называлось оно Разбойным приказом или, между москвичами в страшную насмешку, Зачатьевским монастырем. Ведались в нем дела татебные да разбойные, по сыску и наговору, и горе было тому, кто попадал туда хотя бы и занапрасно. Радея о правде, пытая истину, ломали ему кости, рвали и жгли тело и выпускали потом калекой навеки, с наказом в другой раз не попадаться.

С утра и до ночи шла там страшная работа, и вопли подчас вырывались даже из-за высокого тына и неслись по глухой улице, заставляя креститься и вздрагивать прохожего. Прямили там государю боярин со стольником да двумя дьяками и заплечный мастер с молодцами.

За высоким тыном вокруг широкого двора были разбросаны постройки. Прямо перед воротами тянулось низкое строение с маленькими отдушниками на уровне с землей, закрытыми железными решетками, – так называемые ямы, куда бросали преступников, закованных в железо; немного дальше стояло здание повыше, тюрьма и клетки, где тоже томились преступники, но в условиях более сносных. Рядом с этими зданиями, во дворе налево, стояла приказная изба, а напротив, справа, высилась тяжелая каменная, низкая башня, где помещался страшный застенок.

Во дворе стояли тюремные стражники, взад и вперед пробегали заплечные мастера, то и дело тащили из ям и клеток преступников на допросы с дыбы или выносили из застенка изломанных, окровавленных.

У ворот этого страшного приказа ходили с бердышами два стрельца по наряду, и тут же, на месте, огороженном невысоким частоколом, мучились жены, муже- и детоубийцы, по пояс закопанные в землю.

Недалеко от этого страшного места, саженьях в двухстах от него, стоял чистенький веселый домик, обнесенный забором, но хоть и весел он был на вид, мимо него также берегся идти скромный обыватель. Никогда никто в нем не видел веселых гостей, никогда никто не слышал, чтобы в нем раздались смех или пение, и теперь вот, хотя стоит на дворе ясный весенний день и теплому солнцу радуется не только человек, а всякая тварь Божья, каждый листок на дереве, каждая травка, в домике словно вымерла вся жизнь, а между тем там живут люди: муж, жена и тринадцатилетний сын.

Только если бы вышли они на шумную улицу или площадь, все гуляющие шарахнулись бы от них, как от зачумленных, потому что всякий бы узнал в высоком широкоплечем богатыре с русой бородой от плеча до плеча, с добродушной усмешкой под густыми усами и с веселыми серыми глазами страшного мастера Разбойного приказа Тишку-кожедера.

Кто его не знал! Недели не проходило, чтобы на Лобном месте у тяжелой плахи или высокой виселицы не являлся бы он перед москвичами в своей кумачовой рубаше с яхонтовыми запонами, с засученными рукавами и, добродушно посмеиваясь, не потешал бы народ прибаутками, от которых между плеч начинало знобить.



В этот весенний день, в воскресенье 24 апреля 1653 года, царствования царя Алексея Михайловича 9-го, Тимошка отдыхал от работы у себя дома, потому что день воскресный считался даже и в Разбойном приказе.

Встав на заре, он по обычаю отстоял заутреню у себя на дому, для чего слуга его взял с базара попа за два алтына, потом сытно поел пирога с кашей, выпил взварного меда и вышел в сад погулять, пока хозяйка его обед варила.

Хорошо было в густом саду в эту пору!

Птицы, перепархивая с ветки на ветку, весело чирикали, раза два где-то начинал петь соловей и обрывался, жужжала пчела и, как хлопья снега, мелькали в воздухе капустницы. Черемуха и сирень напоили воздух таким дурманом, что даже Тимошка вздохнул и, качая головой, подумал: «Хорош мир Божий. И все-то его славят, окромя нас, грешных. Живем словно волки...»

Он прошел к себе на пчельник, где стояло у него полсорока колод, за которыми ходил старик с переломанными ногами. Тимошка взял его из приказа на поруки, поддавшись жалости, и пристроил к своей пасеке. Старика пытали, обвиняя в колдовстве, и сломали ему ноги. Потом срослись они, но срослись криво, изогнувшись под коленями, что придавало фигуре старика ужасный вид.

– Ну, как пчелки, Антоша? – ласково спросил его Тимошка.

– А, слава Господу Богу, – прощамкал старик, усмехаясь бледными губами, – четвертый денечек уже летают. Ишь Господь благодать какую посылает! Теплынь!

И он заковылял на своих искалеченных ногах от колоды к колоде.

Тимошка посмотрел ему вслед и ласково усмехнулся. Он любил этого старика за свое доброе дело, и сам старик любил его и тешил своими речами.

Прошелся Тимошка и по огороду, и по фруктовому саду, где зацвели уже груша и яблоня, пока наконец Васютка, здоровый тринадцатилетний парнишка, позвал его обедать.

Ловкая, красивая Авдотья, по рождению дочь палача из Земского приказа, собрала уже обед, и Тимошка, перекрестясь, с жадностью принялся хлебать жирную лапшу, запивая ее водкой, потом оладьи и наконец кисель, после чего еще выпил ендову пива. А Авдотья, служа ему, весело говорила:

– Кушай, светик, на здоровьице! В недельку раз только и видишь тебя, сокола!

– Пожди, – отвечал Тимошка, – скоро поменьше работы будет. Отдохнем! К вечерне уже шабашить будем.

– С чего так? Али татей да разбойников поменьше?

– Не то! Скоро заведется еще приказ. Тайных дел. Противу царя воров искать будут.

– А воеводой кого?

– Слышь, князя Ромодановского, а другие бают – Шереметева, да нам-то все едино, кабы работишки поубавили, а то беда!

– Ну пожди, скоро Васютка пойдет. Он тебе на помощь, – успокоила его жена и, приготавливаясь сама обедать, сказала: – Я тебе в саду постелю настлала. На воздухе легче!

– Ну-ну!

И, покрестившись с набожностью, Тимошка пошел под развесистую березу, где хозяйка ему постлала ковер и положила изголовье.

Солнце уже золотило закат, когда Тимошка проснулся и зычным голосом закричал:

– Квасу!

Васька сторожил его сон и теперь стремглав бросился угодить ему.

Тимошка вспотел и тяжело дышал.

Васька принес квасу целый жбан, и едва Тимошка потянул холодный квас богатырским глотком, как живительная сила вернулась к нему разом.

– Хорошо! – сказал он, утирая усы и бороду, и потом, весело усмехаясь, обратился к сыну: – А что, Васютка, может, поучимся?

– А то нет? – радостно ухмыляясь во весь рот, ответил Васютка.

Невысокого роста, но широкий и плотный, с большой головой, на которой вихрами торчали огненно-рыжие волосы, с широким скуластым лицом, он, в противоположность отцу своему, являлся олицетворением жестокости. При словах отца глаза его засветились радостью.

– Ну-ну, – кивая лохматой головой, сказал Тимошка, – тащи снасть!

И когда сын стрелой умчался из сада, он встал, перекрестился и начал потягиваться с такой могучей силой, что расправляемые кости трещали, словно на дыбе.

Минуты через две Васютка вернулся. На спине он нес кожаный, туго набитый паклей мешок, под мышкой – кучу ремней, которые оказались плетью и кнутом.

– Ладно, начнем! – засучивая рукава рубахи, сказал Тимошка.

Васютка быстро положил наземь мешок и обнажил, как отец, руки. Глаза его горели. Он жадно ухватился за плеть.

Это был длинный толстый ремень, аршина в четыре, состоящий из пяти колен: четыре – ровные и короткие – были из толстого негнувшегося ремня, пятое же представляло собой длинный, вершков в двенадцать, ремешок из сыромятной кожи, согнутый в виде желобка с заостренным загнутым кончиком, твердый, как лубок, этот конец был ужасен при ударе.

Отец усмехнулся.

– Плеть так плеть, – сказал он, – зачинай!

Васютка выпрямился и стал вровень с мешком, который казался оголенной спиной. Потом, согнувшись, как бросающаяся на добычу кошка, Васька медленно стал пятиться, собирая в руку коленья распущенной плети, и, собрав всю плеть, на мгновение остановился. Грудь его прерывисто дышала. И вдруг он визгливо закричал.

– Берегись, ожгу! – и быстро сделал шаг вперед.

В то же время выпущенная из руки плеть вытянулась словно змея, оконечник ее звонко ударил по мешку и свистя взвился в воздух.

Васька остановился и взглянул на отца, ожидая одобрения, но тот покачал головой.

– Неважно! – сказал он. – Ты ему что сделал, а? Ты ему клочочек выдрал, во какой, – он показал на кончик мизинца, – а ты ему должен всю полосочку вон! Гляди!

Он взял плеть из рук сына и с места, как артист, собрал ее в руку. Потом без возгласа вытянул руку, и плеть выпрямилась, глухо ударив по мешку. Прошло мгновение, и, словно подсекая лесую рыбу, Тимошка дернул плеть назад.

– Понял? – сказал он восхищенному сыну. – Ты наложи ее да поддержи, чтобы она въелась, а потом сразу на себя, не кверху, вот она по длине и рванет! Ну-кась!

Васька кивнул головой и взял плеть снова.

– Ожгу! – завизжал он, подсакивая. Плеть хлопнула, он выждал и дернул ее назад. Отец одобрительно кивнул головой.

– Ну, давай таких десятков, – сказал он, – авось не скоро очухается! Да не части.

Васька с увлечением стал наносить удары.

Он изгибался, прыгал и звонко вскрикивал.

– Берегись, ожгу! Поддержись! Только для тебя, друга милого!

А сам Тимошка медленно считал удары и делал замечания.

– Руку не сгибай, а назад тяни! Не подымай кверху! Не торопись! Десять! – сказал он наконец, и Васька остановился, тяжело переводя дух. Волосы его взмокли от пота, лицо лоснилось.

– Покажи теперь, как бить, чтобы больно не было! – сказал он.

– Хе! – усмехнулся отец. – Ты поначалу выучись, как кожу рвать. А то ишь!

– А когда в застенки поведешь?



– Ну, это еще погоди. Пожалуй, заорешь там со страху. Это не мешок. Ну, бери кнут теперь!

В это время мимо страшного приказа по пустынной улице шли два человека, направляясь к домику Тимошки. Одеты они были в тонкого сукна кафтаны поверх цветных рубашек, охваченных шелковыми опоясками, шерстяные желтые порты были заправлены в польские сапоги с зелеными отворотами, на головах их были поярковые шапки невысоким гречишником<sup>1</sup>.

– В жисть бы не поверил, что к нему охоткою пойду, – говорил рослый блондин своему товарищу, невысокому, но крепкому парню с черной как смоль бородой. Тот сверкнул в ответ зубами, белыми как кипень, и сказал:

– Все к лучшему, Шаленый! Теперь, ежели попадешься ему в лапы, он тебя за друга признает. Легше будет!

– Тьфу! – сплюнул Шаленый.

Они подошли к воротам, и товарищ Шаленого ухватился за кольцо.

Васька уже было взялся за кнут, когда послышался стук в калитку.

Тимошка с изумлением оглянулся через плетень на дверь.

– Ко мне? Кто бы это?

– А Ивашка стрелец, – напомнил ему Васютка, – он хотел веревку купить для счастья.

– А! – Тимошка усмехнулся. – Побеги, открой ему!

Васька бросил кнут и убежал. Через минуту он вернулся с встревоженным лицом.

– Не, какие-то люди. Тебя спрашают!

– Какие такие? – сказал Тимошка, собираясь идти на двор; но они уже вошли в сад.

Тимошка подошел к ним.

Они, видимо робея, поклонились и прямо приступили к делу.

– Покалякать с тобой малость, – сказал черный и, оглянувшись, прибавил: – Дело потаенное!

– Ништо, – ответил Тимошка, – у меня тут ушей нету. Сажайтесь! – Он подвел их к скамье под кустами сирени и опустился первый.

Шаленый увидел мешок, кнут с плетью и вздрогнул.

– Это что? – спросил он.

Тимошка усмехнулся.

– Снасть. Мальчонку учил. Васька! – крикнул он. – Убери! – и обратился к гостям: – Какое дело-то?

– Потаенное, – повторил черный и, нагнувшись, сказал: – Бают, слышь, что у вас в клетях сидит Мирон.

– Мало ли их у нас! Мирон, Семен.

Шаленый вздрогнул.

– Нам невдомек. Какой он из себя? За что сидит?

– Рыжий... высокий такой... по оговору взяли... будто смутянил он... а он ничим...

– Этого-то? Знаю! – кивнул Тимошка. – Ну?

– Ослобонить бы его, – прошептал черный и замер. Тимошка откинулся, потом покачал головой и усмехнулся.

– Ишь! – сказал он. – Да нешто легко это. Шутка! Из клетки вынуть! Кабы ты сказал – бить не до смерти, а то на!

– Мы тебе во как поклонимся! – сказал Шаленый.

– А сколько?

– А ты скажи!

---

<sup>1</sup> Гречишником – в виде усеченного конуса.

Тимошка задумался. Такие дела не каждый день, и грех не попользоваться. Очевидно, они дадут все, что спросишь.

– С вымышлением делать-то надо, – сказал он, помолчав, – не простое дело! Ишь... Полтора десять дадите? – спросил он с недоверием.

– По рукам! – ответил внятно черный. Лицо Тимошки сразу осветилось радостью.

– Полюбились вы мне, – сказал он, – а то ни за что бы!

Страшное дело! Теперь надо дьяку дать, писцу, опять сторожам, воротнику, всем!

– Безвинный! – сказал черный. – Когда же ослобонишь?

– Завтра ввечеру! Приходите к воротам. Его в рогоже понесут к оврагу. Вы идите позади, а там скажите: по приказу мастера! Вом его и дадут.

– Ладно!..

– А деньги – сейчас дадите пяток, а там остальные. Я Ваське, сыну, накажу; он вас устережет!

Черный торопливо полез в сапоги и вынул кошель. Запустив в него руку, он позвенел серебром и вынул оттуда пять ефимков.

– Получай!

Тимошка взял деньги и с сожалением сказал:

– В Земском приказе сколько бы взяли!

– Шутя! – усмехнулся черный, вставая.

– А скажи, – спросил Шаленый, – с ним вместе девку Акульку взяли, ее можно будет?..

– Акулька? – сказал Тимошка. – Высокая такая, сдобная?

– Она! Али пытали?

Тимошка махнул рукой.

– Акулька – ау! Ее боярин к себе взял...

Черный протяжно свистнул.

– Плохо боярину, – пробормотал Шаленый, и они двинулись к воротам.

– Веревки не надоть ли, – спросил Тимошка, – от повешенного?

– Не!

– Руку, может? У меня есть от тезки мово. Усушенная!..

– От какого тезки?

– Тимошки Анкудинова. Я ему руку рубил, потом спрятал.

– Не надо, свои есть, – усмехнулся черный. – Так завтра?

– Об эту пору, – подтвердил Тимошка, выпуская гостей.

– Уф! – вздохнул с облегчением Шаленый. – Словно у нечистого в когтях побывал.

– Труслив, Сенька! – усмехнулся черный.

– А тебе будто и ништо?

– А ништо и есть!

Они прошли молча мимо приказа.

– Куда пойдем, Федька?

– А куда? К Сычу, на Козье болото. Куда еще!

– А Мирон-то? Вот осерчает, как про Акульку узнает! Беда!

– А ты бы не осерчал? – спросил Федька, и черные глаза его сверкнули. – Я бы не посмотрел, что он боярин!

Солнце уже село, и над городом сгустились сумерки.

Тимошка вошел в горницу и весело сказал:

– Получай, женка, да клади в утайку свою!

– Откуда? – радостно воскликнула Авдотья.

– Гости принесли, – засмеялся Тимошка, – завтра еще десяток.

– А я веревку продала. Приходил Ивашка. Я ему с пол-локтя за полтину!

– Ну-ну! – И Тимошка так хлопнул по спине Авдотью, что по горнице пошел гул. Авдотья счастливо засмеялась.

## II При царе

Того же 24 апреля Тишайший царь Алексей Михайлович, откушав вечернюю трапезу в своем коломенском дворце и помолившись в крестовой с великим усердием и смирением, простился с ближними боярами и, отпустив их, направился в опочивальню.

– Князя Терентия со мной, – сказал он.

Терентий – князь Теряев-Распояхин – быстро выдвинулся вперед и прошел оправить царскую постель.

Царь, истово покрестивши возглавие, самое ложе и одеяло и осенив крестом все четыре стороны, лег на высокую постель.

В той же комнате, на скамье, покрытой четырьмя коврами, лег князь Терентий.

В смежной комнате легли шесть других постельничих, из боярских детей; дальше, в следующей комнате, поместились стряпчие, из дворянских детей, на которых лежало по первому слову царскому скакать с его приказом хоть на край света, и, наконец, за этими последними дверями стояли на страже царские истопники, охраняя царский покой.

Ночь во дворце началась, но не спалось в эту ночь князю Терентию. Может, от дум своих, которых не поведал бы он ни царю, на батюшке, ни попу на духу, может, оттого, что весенняя ночь была душна и звонко через слюдяное окно лилась в комнату соловьиная песнь, – только не спал князь Терентий. С ног его сполз легкий кафтан и упал на пол у самой скамьи, а сам князь облокотился на руку и полулежал, устремив недвижный взор на царскую постель. В опочивальне было почти светло от яркого лунного света и лампы, что теплилась перед образом над дверями. В почти пустой огромной горнице, по стенам уставленной укладками и сундуками в чехлах, с поклонным крестом в углу, словно шатер, стояла царская постель, покрытая пышным балдахином.

Алого бархата занавесы спускались до пола, золотом перевитые кисти подхватывали края серединных полотнищ, и высоко поднимался купол балдахина, оканчиваясь искусно выточенным золоченым орлом.

А если бы заглянуть вовнутрь, то на верху балдахина можно было бы увидеть красками написанное небо, с солнцем, луной и планетами.

Князь Терентий лежал, отдаваясь своей тоске, когда вдруг из-за занавесей раздался протяжный вздох, и князь невольно ответил на него тоже вздохом.

– Не спишь? – послышался ласковый голос царя.

– Не спится, государь, – вздрогнув, ответил Терентий. – Ночь-то такая духовитая... соловей звенит...

– О! – сказал царь. – Али по жене затосковал? Небось, небось завтра свидишься!

Князь помолчал. Скажи он слово, и он выдал бы охватившее его волнение. Лицо его сперва залилось краской, потом побледнело, а царь продолжал говорить:

– Вот и мне тоже не спится, только по иному чему, нежели тебе, Тереша!.. Все думаю, чем война кончится; хорошо ли удумано; опять сам ехать решил, и оторопь берет. Слышь, что ведунья покаркала.

Князь покачал головой.

– Коли дозволишь мне, холопу твоему, слово молвить, – скажу: все пустое! Николи человек знать будущего не может. Все от Бога! – сказал он с глубокою верою.

– А он не пакостит, думаешь? От Бога доброе, а от него, с нами крестная сила, погань идет.

– Без Господней воли и он без силы!

– А все же она сказала, и берет меня раздумье. Забыть ее не могу. В лесной чаще, куда заскакал я, и зверь не бывает, – и вдруг она! Откуда? Сгорбленная, лохматая, глаза горят, и рот, словно щель черная. Конь ажно в сторону шарахнулся. А она кричит мне: слушай, царь! Я и остановился, а она: не дело замыслил, говорит, уедешь из Москвы, а вернешься – один пепел будет!.. – и сгинула... разом...

Царь замолчал.

– Да, – сказал князь, – я да Урусов с Голицыным, да Милославский, мы весь лес потом изъездили. Сгинула!

– Вот видишь! – подхватил царь. – Наваждение, не иначе. Я патриарху отписал, а он пишет: молиться будет... Святой! – сказал царь с умилением, и мысли его обратились тотчас в иную сторону.

– Великий старец! – заговорил он с восторгом. – Мед в устах! И мудрость велия, и сердцем кроток, и жизни праведной. Когда молил я его, он все говорил: недостойн! А ныне как пасет овцы своя? За всех нас молешич!

– А он и на войну благословил, – сказал князь.

– Так! Почему же я иду, а все не могу изгнать из дум своих ее карканья! Положим, – заговорил он снова задумчиво, – Москву на верных слуг оставляю: Морозов Иван, Куракин Федор, Хилков. Мужа разума, а все же сердце щемит. Царица, детки малые, царевич. Вот что!

Царь вдруг откинул занавеску, князь увидел его сидящим на постели и тотчас встал на ноги.

– Я полюбил тебя, Терентий, – с чувством сказал царь, – и хотел при себе неотлучно держать, а теперь вот что удумал. Оставайся тут! Оставайся да мне тайно про все отписывай. Как тут, что... я про тебя шепну патриарху...

Лицо князя вспыхнуло от нескрываемой радости, и он упал на колени, крепко ударив лбом об пол.

– Али рад? – спросил царь.

Князь быстро опомнился.

– Рад, что отличил меня, холопишку твоего! – сказал он глухо. – Я за тебя, государь, живота не пожалею.

– Знаю, знаю, – остановил его царь. – Вы все, Теряевы, нам верные слуги. Твоего отца еще мой родитель супротив всех отличал, и теперь он со мной вместе будет...

В это время, звонко перекликаясь, запели петухи.

– Ишь! – сказал царь. – Полночь, а утро близко. Будем спать! – И занавес плавно опустился и скрыл царя.

Князь поднялся с колен и лег на лавку, чтобы снова предаться своим думам, но на этот раз радостным думам. Царское слово как будто возродило его к жизни. Он не уедет, останется здесь, а тот, другой, уедет в поход!.. – и губы его невольно улыбались, глаза светились тихим счастьем, и в тишине весенней ночи, в бледных лучах сияющего месяца легким видением перед ним вставал образ той, о которой были все его мысли.

Чуть поднялось с востока яркое весеннее солнце и ожила проснувшаяся природа, как на дворе коломенского дворца поднялась суматоха. Медленно и важно в прихожую, переходя дворцовый двор, сходились бояре, окольничие, стольники бить царю челом утром на здравие; суетливо бегали по двору конюхи, стремянные, вершники, обряжая царский поезд; гремя оружием, собирались стрельцы, и ржанье горячих коней сливалось с топотом, возгласами, бряцаньем оружия и колокольным звоном в такой шум, что птицы, оглашавшие воздух пением, смолкли и пугливо попрятались в траве и кустах.

В этот день царь с семейством выезжал в Москву, чтобы проводить свое войско в поход.

Царь проснулся в добром настроении. Глаза его ласково светились, когда он вышел к своим боярам и они все упали перед ним на колени.

– Ну, сегодня кто запозднил, того купать уж не будем за недосугом, – сказал он, подпуская иных к руке, после чего послал к царице навверх узнать о здоровье и тихо двинулся в крестовую отстоять утреню и напутственный молебен.

Потом, потрапезовав, царь приказал собираться и тронулся в путь.

Иностранцы, посещавшие Россию, свидетельствуют, что великолепие двора царя Алексея Михайловича превосходило все ими виденное. И действительно, пышность его двора могла только сравниться с пышностью французского двора. Обладая поэтической душой, любя красоту во всех ее проявлениях, царь устремил свое внимание на обрядовую сторону придворной жизни, и при нем многообразный чин царских выходов, богомолий, посольств, царских лицезрений, обрядов получил особую торжественность и перестал на время быть мертвым обрядом, потому что царь вносил в него живую душу.

И теперь, когда он вышел на крыльцо, собираясь в дорогу, он прежде всего взглядом опытного церемониймейстера оглядел всех столпившихся на дворе и потом уже, приняв благословение от священника, сел на коня, которого подвели ему стремянные. Конь был настоящий аргамак золотистой масти. Пышный чепрак покрывал его почти до земли, шелковая узда с драгоценными камнями сверкала на солнце, как полоса молнии, высокое седло, украшенное тоже драгоценными камнями, было широко и покойно, как кресло. Конь нетерпеливо рыл копытом землю и тряс красивой головой, на которой звенели серебряные бубенцы и колыхался султан из страусовых перьев, – но царь был искусный наездник и легко сдерживал пылкого коня.

Стрельцы, со знаменем в голове отряда, открыли шествие; потом длинной вереницей попарно тронулись сокольники и доезжачие, в зеленых и желтых кафтанах, легких серебряных налобниках, с ножами у кованых поясов; за ними попарно поехали стольники, спальные, стряпчие и, наконец, царь, окруженный ближними боярами. Далее потянулись всадники со знаменем и алебардами и за ними царицын поезд. Вершники вели коней под уздцы и шли подле дорогих колымаг, в которых ехали царица с детьми и боярынями и царские сестры.

Вокруг них и сзади верхом на лошадях ехали теремные мастерицы и девушки. Здесь были и постельницы, и сенные, и золотницы, и белые мастерицы, и мовницы, или портмоя, – словом, все составлявшие обиход теремной царицыной жизни.

Поезд медленно двигался, вздымая по дороге пыль. Царь был весел и шутил со своими боярами, называя их разными прозвищами и смеясь над плохими ездоками, как вдруг лицо его побледнело, и он закричал:

– Возьмите ее!

Бояре испуганно оглянулись по направлению царской руки и увидели горбатую старуху. Она стояла у опушки леса, подняв обе руки кверху, и не то благословляла, не то слала проклятия.

– Я ее! – воскликнул Голицын и поскакал к лесу, но старуха вскрикнула и исчезла, словно виденье.

– Окружить лес! – приказал царь. Конная стража поскакала к лесу, но старуха словно сгинула. Царь сделался мрачен.

### III

## Воры

В назначенный Тимошкой вечер оба гостя его, едва закатилось солнце, уже стояли на страже перед воротами приказа, прячась за толстыми деревьями противоположной стороны улицы.

Мрачны и унылы стояли высокие заостренные бревна тына. Кругом было пусто и тихо. Два стрельца, обняв свои бердыши, мирно храпели, прислонясь к косякам ворот. Где-то протяжно выла собака и усиливала гнетущее впечатление. И вдруг в тишине ночи раздался пронзительный стон... еще и еще.

Шаленый рванулся в сторону. Товарищ едва успел ухватить его за полу кафтана.

– Куда, дурень? – прошептал он, чувствуя, как и его охватывает невольная дрожь.

– Ппппусти! – стуча зубами, пробормотал Семен.

– Балда! – выругался его приятель. – Кабы это тебя драли...

– Жутко, Неустрой! – совладав с испугом, тихо ответил Шаленый. – Думается: а коли придет и наш черед, да мы вот так-то...

Голос его пресекся.

– Балда и есть! – презрительно ответил Неустрой. – Двум смертям не быть, одной не избыть. Любишь кататься, люби и санки возить. Не все коту масленицу править. Так-то! А ты гляди, почет-то какой! Тут тебе и боярин, и дьяки, и мастера эти самые... Опять: стерпи! Пусть их, черти, потешатся, а там опять твоя воля!

– Без рук, без ног!

– Еще того лучше. Сойдешь за убогого. Так ли Лазаря запоешь, любо два!

– Тсс... – вдруг остановил его Шаленый, и они замерли.

Ворота с громким визгом отворились, и из них медленно вышли два парня, босоногие, с ремешками на головах, неся за концы рогожу, на которой недвижно лежало тело. Стрельцы сразу встрепнулись.

– Куда? Кто? – окликнули они.

Вышедшие рассмеялись.

– Спите, – сказал один, – свое добро несем.

– Мастера! Не видите, что ли! – ответил второй, и они пошли вдоль тына, свернули за угол и стали по скату спускаться к мрачному темному зданию.

Неустрой и Шаленый тихо двинулись за ними и невольно вздрогнули, увидав, куда они держат путь. Они шли прямо к «Божьему дому», из которого доносился невероятный смрад разлагающихся трупов. В этот дом – вернее, склеп – складывались трупы всех неизвестных, поднятых на улицах Москвы мертвецов. Были тут опившиеся водкой, замерзшие, вытащенные из воды, были тут и убитые, и раздавленные. Всех клали в одно место и держали до весны, когда хоронили зараз и в общей могиле. Случалось, к весне скапливалось триста – четыреста трупов, и едва наступала оттепель, как тяжелый смрад от них разносился по всему городу.

Неустрой не выдержал, и, как только носильщики завернули за угол, он подбежал к ним и сказал:

– По приказу мастера!

– Получай! – добродушно ответил шедший впереди и ловким движением сбросил наземь неподвижное тело.

– Мертвый? – испуганно спросил Неустрой.

Носильщики засмеялись.

– Встряхни и очухается.

– Нешто можно было его живым выволочить? Духа! – укоризненно сказал другой.



Неустрой и Шаленый нагнулись над товарищем. Шаленый вдруг выпрямился.

– Кровь! – сказал он глухо.

– Где?

Шаленый указал на ноги носильщиков. Голые, они были испачканы кровью.

Носильщики грубо засмеялись.

– И уморушка! – сказал один. – Али, милый человек, нашего дела не знаешь?

– Заходи, покажем, – с усмешкой сказал другой.

– Тьфу! Пропади вы пропадом! – сплюнул Шаленый и торопливо зажал в кулак большие пальцы от сглазу или наговора.

Носильщики, смеясь, удалились и скоро скрылись за углом забора.

– Понесем, бери! – сказал Неустрой, хватая недвижимого приятеля за ноги.

– А деньги? – раздался подле них голос, и они увидели приземистого, большеголового Ваську.

– Получай! – ответил ему Неустрой и торопливо отсчитал монеты. – Бери, что ли! – крикнул он товарищу.

Они ухватили тело за ноги и за голову.

Мальчишка оскалил зубы.

– А хошь, крикну государево слово, а?

– Дурак! – задрожав, ответил Неустрой. – Оговорим твоего батьку, да и тебе влетит.

– Го-го-го! – загоготал Васька. – Так оно и было! Батьку-то не оговоришь, он тебе язык вырвет. Щипцы в рот!

– Уйди, окаянный!

– Хошь, закричу? – дразнил мальчишка и словно бес прыгал подле них на одной ноге.

– Дай полтину! дай! молчать буду!

Невыносимый смрад доносился из склепа, страшным призраком чернел приказ под серебристым светом луны, а мальчишка, сверкая огненной балкой, прыгал и вертелся подле них, говоря:

– Дай полтину, а то закричу!

– Дай ему, бесу! – прохрипел Семен.

– Лопай, пес! – кидая монету, сказал Федька.

Васька схватил ее и завертелся волчком.

– Го-го-го! – прокричал он. – Вот славно! Ужо приходите в приказ, я вас плетью бить буду. По-легкому, только ключья полетят.

– Ооо! – раздался протяжный вой из-за тына.

– Бежим! – закричал Семен, и они бегом пустились по пустынной дороге, волоча за собой товарища.

– Приходите! – кричал вслед Васька и хохотал визгливым хохотом.

Они пробежали сажень сто и без сил упали на траву.

– Уф! – простонал Семен. – Ну и ночь!

– Проклятуший мальчишка, – проворчал Федька.

– Тимошкино отродье, змеиный яд, волчья сыть, сатанинский выродок! – залпом выругался Семен.

– Одначе, что же это Мирон-то наш? Потрем? – предложил Федька, и они дружно стали встряхивать своего товарища, бить по спине, тереть ему уши и дуть в лицо.

От такой встряски очнулся бы и мертвый, и Мирон скоро пришел в себя, вырвался из их рук, сел и бессмысленно огляделся.

– Мирошка! Атаман! Кистень! – восторженно воскликнул Семен. – Ожил, родитель!

– Чего зенки-то ворочаешь, – усмехнулся Федор, – вызволили небось!

Одним прыжком Мирон вскочил на ноги.

– На свободе? – воскликнул он, радостно озираясь. – Ой ли! Ты, Неустрой! И ты, Шаленый! родные мои! – Он крепко с ними поцеловался. Потом передохнул и заговорил:

– Я не чаял выбраться! ни-ни! Пока деньги были, от пытки откупался, послал вам весточку, да думаю: где уж! А вскорости на кобылку лезть. Так и решил: прощай мое правое ухо! Ан и вы, мои золотые!

– Стой, атаман, прежде всего выпить да поснедать что-нибудь надо, – сказал Семен, – чай, отощал с монастырской еды!

– Верно, что отощал, – засмеялся Мирон, – во как! Там, милые, корочками кормят, да и то не всяк день.

– Ну, так идем!

– А куда?

– Да к тому же Сычу. Он, чай, ждет не дождется дружка.

– И то! – засмеялся Мирон. – Я ему во сколько добра таскал. С меня жить пошел.

Они дружно двинулись по дороге, спустились к самой Москве-реке и пошли ее берегом, пробираясь к Козьему болоту, супротив которого находилась рапата Сыча.

– А много дали, братцы, выкупа? – спросил по дороге Мирон.

– Пять Тимошке да его щенку полтину! – ответил Федька.

– Что брешешь, – перебил его Семен, – пятнадцать!

– Пес брешет, – серьезным тоном сказал Федька, – нешто я, как ты, умен? Я ему пять ефимков дал, а тому щенку десять оловяшек всунул! Я не ты! – с укором прибавил он по адресу Семена.

– Ой, ловко! Ой, молодец! Ну и ну! – весело расхохотавшись, проговорил Мирон. – То-то избеленится Тимошка!

– Всыплет своему щенку! Попомнит нас!

– А коли ему попадемся... – задумчиво заметил Семен.

– Да, братцы, теперь берегись! – окончил Мирон, и они пошли в рапату. Это был тайный притон разврата. Здесь пили вино, играли в зернь и в карты, и раскрашенные женщины, с зачерненными зубами, подходили к гостям, садились к ним на колени и уговаривали пить.

В эту ночь по всей Москве шел великий разгул. Наутро царское войско выступало походом на поляков, и стрельцы, солдаты, рейтары пили из последнего, прогуливая свою ночь.

Хозяин рапаты Сыч, с седыми клочками волос на голове, с черной дырой вместо глаза и перешибленной ногой, бегал, хромая, по всей хоромине, стараясь угодить каждому, и едва успевал черпать из бочки крепкую водку.

Мирон, войдя, толкнул его незаметно плечом, в ответ на что Сыч пробурчал что-то и тотчас незаметно скрылся. Следом за ним в особую клеть вошли Мирон и его товарищи.

## IV

### Выступление войска

Хотя и говорят, что худой мир лучше доброй драки, однако жизнь в мире с поляками становилась русским невмоготу. Со времени того позорного поражения несчастного Шеина под Смоленском, следствием которого явился тяжкий Поляновский мир; о мире, собственно, не могло быть и речи. Хвастливые поляки, кичась взятым верхом, глумились над русскими, вступившими с ними в сношения; русские же таили в душе жажду мщения еще с приснопамятного 1612 года. Пограничных городов воеводы отписывали в Москву, что поляки не признают даже титула царя, по-всякому понося его. Вражда обострялась, а тут еще завязалось великое дело с Малороссией, в которой гетманствовал Богдан Хмельницкий. После страшного погрома в 1651 году Хмельницкий, поняв, что одним казакам не справиться с Польшей, вторично просил Алексея Михайловича принять Малороссию в свое подданство, но царь все еще медлил.

Он не решался прервать с Польшей мира, приняв сторону казаков, и в то же время опасался, как бы Хмельницкий в отчаянии не соединился с крымским ханом и не двинулся бы на Россию.

Ввиду этого, а заодно и горя ревностью о своем царском достоинстве, царь отрядил богатое посольство – из князей Репина, Оболенского и Волконского – к Яну Казимиру.

Но посольство было встречено поляками высокомерно и во всех требованиях ему было отказано. Мало того, король немедленно выступил против Хмельницкого.

Это переполнило меру терпения Тишайшего.

Был тотчас созван собор, на котором решено было принять гетмана со всем его войском в подданство и в то же время двинуться на поляков войной.

Как в 1632 году, по Москве тотчас разнесся воинственный клич, и жажда мести за все обиды вспыхнула пожаром в сердцах русских.

Царь быстро начал готовиться к походу.

В октябре этот поход был решен, а уже 27 февраля двинулась из Москвы вся артиллерия под началом бояр Долматова, Карпова и князя Щетинина.

Бутурлин уже принял присягу от казаков на подданство, и их полки начали действия.

Наконец, 26 апреля должен был выступить князь Алексей Никитич Трубецкой со всем войском из Москвы, и провожать его вышли царь с царицей и патриарх Никон.

Это было торжественное зрелище.

У патриаршего дворца наскоро была выстроена деревянная галерея на помосте, вся обитая алым сукном и перегороженная надвое. В левой половине ее на высоком кресле сидел царь в остроконечной шапке с крестом, украшенной драгоценными камнями, в золотом нагруднике, и его молодое, полное, красивое лицо горело отвагой и радостью. Рядом с ним в драгоценной митре, с сияющими камнями крестом на груди, с высоким посохом в руке стоял патриарх Никон, а вокруг в дорогих парчовых кафтанах и высоких парчовых шапках стояли ближние бояре, окольничие, спальники и убеленные сединами архиереи в полном облачении.

В другой же половине государыня Мария Ильинична со своей сестрой Анной Ильиничной, с царскими сестрами Ириной и Анной и ближними боярынями из-за парчовой занавески глядели на широкую площадь, что расстилалась перед ними.

И вот под лучами весеннего яркого солнца засверкали воинские уборы, и к галерее, сняв блестящий шлем, подошел князь Алексей Трубецкой и склонился перед царем. Позади него стали два полка, конный и пеший. Царь поднялся и знаком подозвал к себе князя, а когда князь пошел на галерею, он горячо обнял его.

– Не посрами царя своего! – сказал он ему, и князь, упав на помост и гремя доспехами, до восьмидесяти раз ударил царю челом.

– Да будет благословение Божие над тобой, – строгим голосом произнес Никон, благословляя склоненного Трубецкого, – да бежит от тебя враг, как тьма от ясного солнца! Сим победиши! – И с этими словами он протянул ему хоругвь. На высоком древке с русским орлом развевался белый плат с черными полосами. В середине его сиял златотканый орел, под которым хитрой вязью была начертана надпись «Бойся Бога и чти царя».

Князь благоговейно принял знамя и, облобызав руку патриарха, сошел вниз. В это мгновение загудели колокола, заиграли трубы, загремели барабаны, и огромная рать, более десяти тысяч, двинулась в поход, проходя мимо царя и патриарха. Впереди шел князь с двумя полками, окруженный знаменами, золотые орлы которых сверкали на солнце, белые, красные, зеленые хоругви реяли в воздухе, как гигантские птицы; на них виднелись изображения икон Спаса и Богоматери, орлов, оленя, мечей и корон... Гремя копытами тысячи коней, звеня доспехами, медленно двигалась рейтарская конница в своих низких налобниках, с тяжелыми палашами до земли, с конями, закованными в броню. За ними тотчас шел пеший рейтарский полк с алебардами и в шлемах – а там тянуло и все войско. Вот гусары, вооруженные копьями, по образцу польских гусар, в ярких зеленых, красных и желтых камзолах, с легкими шлемами на головах, в легких кольчужных сетках до пояса. За ними конница с огромными мушкетами, положенными поперек седел, и тысячи пеших стрелцов с ружьями в руках и козлами для них за плечами. Одни просто в кафтанах, другие в кожаных, лубяных латах, иные в шлемах, иные в треухах, но все равно готовые умереть в бою. Вот запестрело в глазах от забавных лохматых фигур на крошечных лошадаках. Замелькали остроконечные шапки, зеленые и белые халаты, длинные копы с пучками красных волос на концах, кривые луки и кожей обтянутые саадаки<sup>2</sup>. Это несчетная сила татар, башкир и калмыков. Потом пошли сибирские войска и за ними стройными рядами то конные, то пешие полки из боярских и дворянских детей, обученные западному строению.

Государь, встречая каждый отряд, ласково кивал ему головой и провожал до самого конца сияющим взглядом, а патриарх, благословляя проходивших правой рукой, левой кропил их святой водой и неустанно повторял слова благословения.

А за воротами Кремля войска встречал толпившийся народ и провожал их радостными кликами.

Это торжественное прохождение войска заняло все время и зажгло сердца воинственным жаром.

– Что, други, – улыбаясь, обратился царь к стоявшим вблизи, – не возгорается ли и у вас охота идти на ляхов?

– Так бы и полетел, – ответил пылко боярин князь Теряев-Распояхин.

Царь улыбнулся:

– Про тебя знаю! Отец твой, вояка, и Москву от ляхов очистил, и с Лисовским, слышь, бился, и Сапегу знал, а ты с Шеиным под Смоленском был. Пожди, без тебя не уедем, Аника-воин! А сын твой как? Я ему здесь наказал оставаться. Терентий, тебе, может, не в охоту с бабами оставаться, ась?

Молодой князь Терентий, сын Теряева-Распояхина, смущенно выступил и стал на колени.

– Твоя воля, государь! – сказал он.

– Встань, встань, – приказал ему царь, – я ведь шутя говорю. Так как хочешь? Ась?

– Остаться, – прошептал Терентий, вспыхивая.

– Ну и оставайся, а мы воевать уйдем! Так-тошь!

Князь Теряев нахмурился и грозно взглянул на сына.

---

<sup>2</sup> Саадаки – чехлы для луков.

– Не погневись, государь, на глупого, – сказал он, – и я, и сыны мои за тебя готовы костью лечь.

– Да ты что, – улыбнулся царь, – я его своей волей здесь оставляю.

– А на место его мой младший идет, государь, в поход с нами.

– У тебя и еще сыны есть?

– Петр, государь! – ответил князь.

– Ну, ты его покажи мне.

В это время последний отряд уже уходил в ворота, и скоро площадь опустела.

Царь встал и набожно перекрестился.

– Да будет, Боже, воля Твоя! – произнес он и, обратясь ко всем, сказал: – Через неделю и мы поедем!

Смотр окончился.

Государь сел в раззолоченную колымагу, чтобы переехать небольшое расстояние от патриаршего двора до своего дворца. Вершники побежали впереди. Шествие тронулось.

Следом за ними поехали и царица со своими боярынями.

Бояре проводили царя и медленно стали разъезжаться по своим дворцам, думая о скором походе; а царское войско шло тем временем на Можайск, вздымая пыль ногами и копытами.

В Москве шел дым коромыслом. Мещане и посадские да оставшиеся городовые стрельцы еще правили проводы, и царевы кабаки кипели шумной жизнью.

## V Два брата

Князь Теряев-Распояхин и его старший сын, Терентий, верхом на породистых конях шагом поехали домой. Толпы народа волновались перед ними, и они осторожно пробирались по узким улочкам к своему дому.

Князь говорил сыну:

– Зарезал ты меня нонче! Морозов, ишь, локтем пнул, как ты такое слово сказал!

– Какое, батюшка, невдомек...

– А что воевать не хочешь. Мы царевы холопы. Нам в радость за него, барюшку, костями лечь, а ты что? – сурово сказал князь.

Сын тихо покачал головой.

– Я тебе, батюшка, сказать досуга не имел. Государь мне в ночь сам назначил на Москве оставаться. Колдунья запугала его. Слышь, ты, баяла, уедешь, а Москва сгинет!

Князь даже осадил коня.

– Сам наказал? – переспросил он.

– Сам, – ответил Терентий, – потому я так и вымолвил...

Лицо князя просветлело.

– Ну-ну! А я думал сдуру! Так, Тереша; дело. Послужи тут царю, а я с Петрухой на поле ратном. Глядишь, и упрочится род наш!

С этими словами они подъехали к княжескому дому, выстроенному Терентием Петровичем по приказу царя Михаила.

Высокий частокол окружал его со всех сторон, спускаясь до самой Москвы-реки. За ним у реки виднелись густые навесы вековых деревьев, а дальше хитрые крыши домовых пристроек. Крытые тесом, иные черепицей или дранкой, выкрашенные в зеленый, красный, желтый цвет, они были и острые, как у немецкой кирпичи, и куполами, и просто скатами, что придавало зданию затаенный вид.

Высокие тесовые ворота с иконой, вделанной в верхнюю перекладину, были тоже выкрашены разными узорами, а наверху деревянная резьба изображала конские головы и высокого петуха.

Едва они подъехали к дому, как сторож, что стоял у ворот (воротник), ударил в доску, которая загудела на весь двор, и спешно отворились ворота.

Князь с сыном въехали во двор и остановились у высокого резного крыльца, выступающего вперед, с хитро выточенными пузатыми балясинами, с круглым низким куполом.

Стремянные подбежали и помогли князьям сойти с коней.

Князь взошел на крыльцо и, обратясь к толстому дворецкому, что стоял в богатом кафтане с высоким воротом (что твой боярин), сказал:

– Трапезовать, Никитка! А ввечеру во дворец, – прибавил он сыну, проходя в горницы.

Четверть часа спустя в большой трапезной горнице за столом сидела вся семья князя.

Держась немецкого обычая, который он перенял, бывши в Швеции и иных землях еще при Михаиле царе, князь любил трапезовать всей семьей, когда не было гостей.

При госте иное дело. Женщины тогда уходили, а поднося здравицу, закрывали лицо свое, поднимая фату только для поцелуйного обряда, который, к слову сказать, уже стал выводиться.

И сидел князь со своей семьей. Сам он сидел в красном углу под образами, а напротив сидела княгиня, жена его, Ольга Петровна. Раздобрела она дюже за время замужней теремной жизни. Подбородок лежал жирными складками на высокой груди, щеки от тяжести повисли чуть не до самых плеч, и от красивого лица ее остались только живые, ясные глаза.

Справа от князя сидел его старший сын Терентий, слева младший, Петр, а подле княгини, рядом с Терентием, сидела жена его, Дарья Васильевна, из рода Голицыных, слева же – княжна Анна, круглолицая девушка, лет шестнадцати. Дарья Васильевна, два года как обвенчанная с князем Терентием, была и красавица, и модница того времени. Высокая, стройная, еще не пополневшая от теремной жизни, с длинным овальным лицом, словно выточенным, с высокой грудью и покатыми плечами, она была совершенной красавицей, несколько татарского типа. Только по моде того времени щеки ее были так нарумянены, что краска видна была лежащей толстым слоем, брови были намазаны прямыми чертами, а прекрасные, ровные зубы сплошь зачернены – отчего рот терял свою прелесть и никак не мог быть сравнен с розой.

В редких случаях, когда при больших выходах или на царской охоте можно было украдкой увидеть открытое лицо боярыни, молодежь, затаив дыхание, следила за Дарьей Васильевной, и много дворянских да боярских детей сушили по ней свои сердца, а князь Терентий даже и не взглянул на нее и сидел все время молча, опустив глаза на тарелку.

Сидя напротив своего брата, он казался мрачной тучей перед легким перистым облаком.

Черные волосы его на голове и в бороде, черные сдвинутые брови и смуглый цвет сурового лица делали его старше на добрый десяток лет. Он сидел молча и словно томился какой-то думой.

А напротив него брат его Петр, в светло-синем шелковом кафтане с серебряными шнурами по груди, сиял, словно праздник. Белое и румяное круглое лицо его с прямым, красивым носом и алыми губами было весело, радостно и ко всем обращалось с улыбкой. Русые волосы его, несмотря на побритый затылок, непослушно вились и падали на лоб; чуть-чуть пробивающиеся волосы на верхней губе и подбородке придавали ему задорный вид.

И как по внешности, так и по характерам своим оба брата являлись полными противоположностями.

Может быть, в этом помогло немало и их разное воспитание.

С того времени, как князь Михаил Теряев, прокравшись через вражье войско, пришел в Москву из-под Смоленска и был награжден царем званием окольного, князь без перерыва ходил в походы, то на мордву, то на шведов, посылался на окраины возводить острожки, посылался ловить разбойников, и только при царе Алексее, пожалованный в ближние бояре, повесил свой меч и отдохнул. А тем временем рос князь Терентий, любимец матери, рос в терему, окруженный санными девками, мамками и няньками. Княгиня Ольга, трепеща за жизнь мужа, богатая любовью и не зная, куда расточать ее, ушла вся в дела благочестия и окружила себя странниками, странницами, юродивыми. В иные вечера сидел Терентий в ее светлице и слушал дивные рассказы о конце края земли, о трех китах, о чудной птице Феникс и о страшных циклопах. В другой раз странники говорили про великие дела Господни, про сподвижников, про знаменья небесные, и сердце мальчика наполнялось таинственной мечтой.

А тут померла бабка, и дед его, князь Терентий Петрович, ушел в Угрешский монастырь и принял монашеский чин под именем Ферапонта.

Со своей матерью стал он ездить к деду на поклон и беседу, и стороной дошли до него бабьи рассказы. Говорили, что сжег князь неповинную девушку, сына полюбовницу, и того греха себе простить не мог.

Под таким впечатлением рос Терентий, когда вернулся отец и остался дома, окончив свои походы.

Князь тотчас принялся за Терентия, обучил его грамоте, обучил на коне ездить и из пищали стрелять, но не мог уже изменить впечатлительной души сына. Не по нраву он стал своему отцу, зато сразу полюбился Тишайшему царю, и тот сделал его постельничим и ни с кем так не любил спать, как с князем Терентием.

А скоро князю ударило двадцать лет, и отец решил его поженить на княжне Голицыной. Ни жених, ни невеста не перечили родителям, и стали они мужем и женой.



Но тут вдруг случилось с Терентием такое, от чего потерял он сразу весь свой покой...

Зато полюбился князю его младший сын – весь радость, здоровье и сила. Не в терему, а в саду да на дворе провел он свое детство. Старик Иоганн Эхе делал для него луки, точил стрелы, учил владеть мечом, старик Эдуард Штрассе шутя выучил его грамоте и показал великую премудрость Божью в устройстве земли и неба. Дети Эхе, шестнадцатилетняя Эльза и старший Эдди, не оставляли в забавах и играх, и рос он, как молодой лось, на воле.

Может, за это и полюбился он своему отцу. Как вернулся отец в Москву, ни соколиная охота, ни облава не обходились без Петра. В короткое время выучился он и на коне сидеть, и пищалью владеть, как добрый рейтар, а когда царь приказал по образцу западных войск формировать из дворянских детей пехотные и конные полки с европейским строем, он тотчас записался в полк Бутурлина.

Князь, любуясь на него, едва объявили войну, взял его из полка, чтобы вести на войну в царевом отряде, и Петр весь горел желанием побиться с ляхами.

Трапеза проходила молча. Слуги принесли сперва мисы с жирной лапшой и пироги, которые потом сменились рыбой, затем на стол явились жареные птицы, бараний бок с кашей, поросята вареные и жареные, потом в затейливых поставцах и на тарелках подали разные варенья, засахаренные плоды и ягоды, орехи с пряниками – и трапеза окончилась.

Помолясь на иконы и поцеловав руку у князя, женщины ушли в терем, а слуги подали на стол мед и пиво, и князь, налив три стопы, отпустил из горницы слуг.

## VI

### Продолжение пятой главы

Отпив крепкого меда, князь перевел дух и заговорил:

– Вечеру на верх звали, а там и ночь. Времени-то, поди, немного, и поговорить недосуг. А тут поход, дело ратное, одному Богу ведомо, кто жить останется, кому убитому быть. Так потому и поговорить хочу с вами...

Он разом осушил стопу и заговорил снова:

– Оба вы мне равно милы, как ты, Терентий, так и ты, Петр. Нравом вы разные, и разные пути у вас, но про одно помните вовеки: берегите род ваш и всеми силами старайтесь возвеличить его. Не древен он...

Князь тяжело вздохнул.

– Зачался он всего от царя Ивана Васильевича. Допрежь просто во дворянах значился, ну а он, государь, возвеличил. Прадед ваш, первый князь Петр Теряев-Распояхин, немало за царя крови пролил; честно служил ему мечом и в опричнине не пачкался. Дале дед ваш, отец мой, ноне отец Ферапонт, помогал из Москвы ляхов гнать и царю Михаилу на престол сесть. За то и отличен был царем. Я же – дела мои все тут.

Сыновья молча кивнули, а князь продолжал:

– Не древен род наш. Столь не древен, что Морозовы и те кичатся предо мной, да я свое место знаю и милостью царской не обделен, а кои старшие, как Голицыны, Шереметевы, Мосальские или там Трубецкие, так те чтут меня. А я так мыслю, что заслугами, а не старинностью отличен быть должен и тем возвеличить род свой. Я сделал свое, а для вас сделал и того больше. Меня и царь, и люди московские любят.

Он усмехнулся.

– Небось, когда смута на Москве была и народ дома Морозовых разбивал, они у царя попрятались да дрожью дрожали, а как царь меня к народу выслал, так все люди меня послушались.

Он задумался и тихо сказал:

– Дал я им тогда Плещеева да Траханиотова, а по правде, надо было Бориску отдать, да и Глеба впридадок. Они с Милославским-то больно уж себе, а не царю прямими. А Плещеев что? Плещеев холоп был у них... Так-тось! Народ и по сю пору меня любит и вас любить будет. Я дел сторонюсь, воеводства не ищу, местами не считаюсь, а за то царь, коли правды ищет – всегда меня призовет. Вот и Никона выбирать; кому царь про свои думушки говорил? А мне! Для тебя говорю, Терентий! Ты ноне царем отличен, идешь по дворцовой службе. Прями царю, и отличен будешь. Гляди, Морозовы уже отодвинулись. Только семейством и держатся: а тестюшка наемдни ишь какую потасовку получил! Царь-то его возил, возил по полу. А ты, Петр, меча не оставляй! И промеж себя дружите, первое дело. Тебе, Терентий, дом этот будет и рязанские вотчины, а тебе, Петр, коломенские. Вот и все! Сестру честно замуж выдайте...

– Батюшка, – заговорил Петр, да что это словно ты помирать собираешься?

– Не собираюсь, – ответил князь, – а в животе и в смерти Бог волен! Завтра я вас на утрени благословлю, а теперь и соснуть еще час можно!

Князь встал, и за ним поднялись его сыновья. Они почтительно поцеловали его в плечо и вышли из горницы.

Князь прошел в опочивальню; сняв кафтан, протянулся на лавке и скоро захрапел на всю горницу.

Терентий пришел на свою половину. На высокой постели, раскинувшись и разгоревшись от жару, крепко спала его молодая жена. Румяна выкрасили ее подушку алой краской; от жары

по вспотевшему лицу ее полосами стекла черная краска бровей, и, взглянув на свою жену, Терентий хмуро отвернулся в сторону и, отойдя, лег на лавку, но не затем, чтобы спать.

Тяжкие мысли отравляли его покой.

«Вон отец сказывал, – думал он, – чтобы я возвеличил род наш, а я поганю его. Поганю честное имя свое, клятву преступаю, окаянствую, и нет мне хода! разве в монастырю идти! Думал, уйду на войну, сложу голову, а как государь вымолвил: на Москве останешься, – так от радости у меня дух захватило. Господи, думаю, нагляжусь на нее, налюбуюсь. Старый уедет с царем, одна голубушка! Ох, окаянство, окаянство!» Он сел на лавке и в порыве отчаянья схватил себя за голову.

Действительно, с ним стряслось горе.

Довелось ему увидеть боярыню Морозову, Федосью Прокофьевну, жену Глеба Ивановича, и с той поры он стал сам не свой. Ее нежное личико с полными алыми губами, с большими, как звезды, горящими, серыми глазами и рядом морщинистое, сухое лицо старика Морозова грезились ему и во сне, и наяву.

Против воли стала разом противна ему молодая жена, и спокойствие души уже навсегда оставило его.

А там случилось увидеть ему боярыню и два, и три раза. Был он однажды у Глеба Ивановича с царским наказом, когда старик занедужился, и о ту пору она поднесла ему чару меда. Поднесла и своим взором открыла его великую, мучительную тайну.

После, в зимнюю, студеную пору, столкнулся с ним морозовский холоп Иван и указал ему дорогу в сад, и там он увидел боярыню. В одной телогрейке да пуховом платке поверх кички сошла она к нему, сошла с лицом снега белее... для чего?

Терентий взмахнул руками и опустил их на колени.

Чтобы его укорить! Он-де ее покой смутил.

Как дух нечистый мешает ей спать, грезится, мешает ей молиться... и она заплакала!.. Он обомлел сперва, а потом – откуда слова взялись.

А с ним что деется? Не он, а она околдовала его! Он тоже клялся перед Богом жене своей, а теперь что с ним? Где он? Да что! За ее слово доброе, за взгляд, за ласку он хоть на отца...

– Тсс! – Боярыня даже руки подняла в ужасе и стала его уговаривать бросить нечестивые мысли, уехать, а с ней встретясь, глаза в сторону воротить. Только усмехнулся на такие речи Терентий и пошел прочь, даже не прикоснувшись к руке боярыни.

Наверное, никто никогда так не проводил со своей зазной времени на потаенном свидании.

Терентий горько усмехнулся.

С того пошло. Словно отраву пили они, сходясь на свидания и жалобно коря друг друга, но порой они и делились своими думами. Боярыня говорила с тоской про старого да ревнивого мужа, Терентий рассказывал, как ему опостылело в доме.

Боярыня утешала его, раз провела рукой по его черным волосам...

«Обрадуется ли?» – подумал Терентий про свое оставление в Москве и горько улыбнулся.

Иному и любовь на муку! Ведь прожил же он тихо, покойно до двадцати трех лет. Немало повидал дворовых и сенных девушек, видал и мешанок вельми красивых, и хоть дрогнуло бы его сердце. Жену дали, хоть бы единожды он порадовался, а тут вдруг, сразу, ровно пожаром вспыхнул.

И Терентий мучился своей греховной любовью, сознав давно себя бессильным бороться с ней...

Тем временем Петр сидел в маленьком садочке при домике Иоганна Эхе и весело болтал с его дочерью Эльзой, пухлой, розовой немкой, и братом ее Эдуардом, который уже пятый год учился малярному искусству у известнейшего придворного художника Данилы Вухтерса. Что же ты думаешь, – с горячностью говорил Эдуард, – без меча и прославиться нельзя? Ан можно!

Вот я, как царь победит ляха, намалюю доску и на ней град Смоленск или иной какой, и образ царя, и войско наше, и пальбу из пищалей, и стены града рушатся. Поднесу царю – вот и слава. Учитель намалевал, как град Иерусалим падает, вот и я!

– Пока! А я уже в славе есть! – раздался молодой голос, и в садик, легко перескочив низкую изгородь, впрыгнул молодой человек, ровесник Петра. На нем был забавный коричневый халат и шапка скуфьею, что придавало ему вид послушника. Но молодое лицо его с маленькой рыжей бородкой, с ярко блестящими глазами говорило о горячей крови, о непреклонной энергии, и когда он взглянул на молоденькую Эльзу, она вспыхнула, как небо зарницей.

Это был Иван Безглинг, тоже ученик Вухтерса и товарищ Эдуарда.

– Как же это удалось тебе? – спросил Петр.

– А просто! Прослышал я, что патриарх говорил: неладно у нас образа малюют. Люди не люди, натуральности мало. Я намалевал на доске Миколу, ото всех потиху – да и понес патриарху.

– А он? – нетерпеливо спросила Эльза.

– А он взял, смотрел и даже хвалил. Тебе это, говорит, дар от Бога – и послужи им Богу. Святить у себя оставил; мой, говорит, лик намалюй. Я ушел, а нынче слышу, патриарх царю про меня уже сказывал. Вот!

Эдуард с завистью взглянул на него.

– Счастливый! Ну да уж! – и, отгоняя дурное чувство, он встряхнул головой, а Эльза козочкой вбежала в домик и, бросившись на грудь матери, сказала, захлебываясь от радости:

– Мутерхен! Он в славу вошел!

– Кто? – спросила Каролина.

– Ваня, – тихо ответила девушка.

Каролина засмеялась и обняла ее.

– Что же? Пусть сватов шлет, – улыбаясь, сказала она. – Ты знаешь, ни я, ни папахен тебя неволить не будем.

Как есть в эту минуту на пороге комнаты показался огромный Эхе. Высокого роста, он, засев дома после долгих походов, разжирел от безделья и казался великаном. Голова его оплешивела, огромная борода разрослась до пояса, кровавый рубец по-прежнему горел через все лицо, но ярче его светились глаза Эхе.

– Так, так, – хрипло проговорил он, – без стариков и договоры. Ой-ой! Ну-ка, снеси мне в садик пива, я пойду да покалякаю с молодежью.

## VII

### Скарёдное дело

Егор Саввич Матюшкин, милостями Милославских, а главное – Бориса Ивановича Морозова, из дьяков ставший думным боярином, сидел в Разбойном приказе и прямил Морозову во всех делах его.

Невысокого роста, с маленьким брюшком, которое он для важности вперед пятил, с небольшой плешью в слегка седеющих черных волосах, с черной бородой, раскинутой на плечи, обликом немного жидовин, боярин Матюшкин почитал себя первейшим красавцем и думал, что у всякой бабы, которая взглянет на него, сердце трепыхается птицей. Ходил он важно, голову держал кверху, и самое сладкое дело ему было в застенке бабу пытать. Случалось, что иная больно по душе ему становилась, тогда он мигал своему дьяку, Травкину, и баба мигом из ямы или вонючей клетки переводилась в дом боярина. Для того у него были горницы особые устроены, в пристройке посередь густого сада. Там боярин и тешился.

Сегодня он был не в духе. Акулина, которую он для себя с дыбы снял, чуть ему глаз не выцарапала. В злости хотел он ее назад в приказ отправить, да больно полюбилась она ему, и вместо криков и брани он только сказал ей ухмыльнувшись:

– Добро, молодка! Ретив конь, да объездится. Я пойду, а ты вспомни друга своего Тимошку-кожедера!

И ушел в приказ. Зато уж и лютовал он там.

В застенке о ту пору находился важный преступник, англичанин Вильям Барнели. Это был молодой красавец с открытым, смелым лицом, с вьющимися до плеч локонами.

Он приехал в Москву для торговли и попал в дом боярина Морозова. Там не раз звали его в терем показывать его товары, и молодая боярыня Анна Ильинична, сестра царицына, покупала у него добра немало, а пуще любила его рассказы, которые передавал он ей коверканным языком.

Стар был Борис Иванович. Злые языки московские говорили, что он сам на себя беду накликал. Мало ему было считаться дядькой царским, мало было состоять ближним во всех делах, так задумал еще с царем в свойство войти: поженит молодого царя на дочери Милославского, Марии Ильиничне, а сам взял да на ее сестре женился, и как мороз губит весенний цвет, так загубил он молодую девушку. Вместо любви и доверия вошла в дом ревность жгучая, и нередко в терему раздавались глухие крики... санные девушки в ужасе убегали в клетки да повалуши<sup>3</sup>, во всем доме наступали скорбь и уныние. Это боярин вместо ласки плетью учил молодую жену свою.

А когда узнал, что не два и не три раза был в его отсутствие в терему английский купец, когда донесли ему злые люди, что чуть он на верх уйдет, Барнели уже подле дома с товарами, – свету не взвидел старый боярин.

Уж и бил он боярыню о ту пору! Перед самым царевым походом вместо прощания! Заливалась она горячими слезами, Спаса во свидетели звала, Николой-угодником заклиналась – себя не помнил старый боярин.

А потом позвал своего верного слугу боярина Матюшкина, наказал забрать в приказ этого Барнели и от него правды дознаться. Матюшкин было призадумался.

– Моя голова в ответе, а ты слушай только, – сурово произнес Борис Иванович, и Матюшкин лишь низко поклонился ему.

– Твой холопишко!

---

<sup>3</sup> Повалуши – летние спальни, устраивавшиеся обычно во дворе.

Тут же под вечер был захвачен англичанин, а наутро, чуть только заалел восток, стоял он в страшном застенке и недоумевающим взглядом оглядывал мрачные стены, сырой пол и непонятные орудия пыток.

Но вошел боярин, вошел с ним дьяк Травкин, тонкий как сичка, с большой лохматой головой и красным носом – и скоро узнал несчастный Барнели, для чего предназначено это странное сооружение вроде виселицы, с веревкой и кольцом...

Матюшкин пытал его накрепко, да ничего от него не дознался.

– Жилист, окаянный, – сказал он наконец с глубоким вздохом, – что из него вытянешь?

– Дозволь, боярин, слово молвить, – вертя головой, сказал Травкин.

– Ну, ну!

– Беспременно надо от боярыни сенных девушек достать. Я так смеаю, что от них скорее дознаемся!

– Во-во! – радостно воскликнул Матюшкин. – И ума в тебе, Еремеич! Дело! Вестимо, девок достать... мы их... – И боярин засмеялся громким, утробным смехом, словно конь заржал.

– Скинь его, Тимошка! – ласково сказал он палачу, вставая. – На нонче будя! Так ты, Еремеич, твори! Иди к самому боярину на двор. Так, мол, и так... да там посмотри... – И боярин скосил глаза. Дьяк сразу понял его намек и закивал своей головой.

Боярин развеселился и в добром духе пошел домой.

В это же самое время холоп боярина Панфил, малый в плечах косая сажень, с круглой как шар головой и придурковатой рожей, в которой виднелось все же лукавство, пробрался огородом, перемахнул плетень и бегом пустился вдоль Москвы-реки вплоть до Козьего болота, где незаметно юркнул в калитку. Так, переводя дух, он уже степенно пошел по пустырю, обогнул большую избу Сыча и зашел в нее с заднего крылечка.

Пьянство и разгул в рапате кончились, и огромная запотевшая горница с длинными скамьями и столами, с воздухом, пропитанным дымом табачного зелья и сивухи, казалась хмурой, мрачной, как душа пьяницы без опохмеля. У большой бочки, свернувшись клубком, лежал мальчишка, на лавке громко храпел сам хозяин.

Панфил оглянулся и хотел уже будить Сыча, когда в низенькой двери, ведущей в повалушу, показался Федька Неустрой.

– Ты, паря! – сказал он Панфилу ласково. – Ну, подь сюда, подь!

Панфил послушно нагнулся и нырнул в темноту через маленькую дверцу.

Неустрой провел его в просторную клеть.

Там стоял в углу стол и вдоль стены протянулись две скамьи. На одной лежал ничком нескладный Семен и, свесив до полу свои корявые, черные руки, храпел громким храпом. За его головой, опершись на облокоченную руку, сидел Мирон. Лицо его припухло от непрерывного пьянства, покрасневшие глаза блуждали дико, – и только Федька Неустрой казался таким же, каким был в гостях у Тимошки.

– Ну, вот и наш сокол! – сказал он, вводя Панфила. Мирон поднял голову и тотчас хрипло спросил:

– Сдалась?

Панфил поклонился, тряхнул волосами и скрипучим голосом ответил:

– Не еще! А только сдаст.

– Это почему? – спросил Неустрой.

У Панфила словно запершило в горле. Он стал кашлять.

– Встал это утром и ничим-то ничего во рту не был! – сказал он вместо ответа.

– Дай ему! Нацеди там! – произнес Мирон.

Неустрой выглянул за дверь и крикнул на мальчишку, который тотчас вскочил на ноги, протирая заспанные глаза.

– Пива да калачей волоки!

Панфил с жадностью закусил калач, выпил с полковша пива и, наотмашь отерев губы, заговорил:

– Как же ей не даться? Он ее тогда к кожедери назад отошлет, да там ее драть будут. У нас завсегда так. Покобенится, и вся тут!

Мирон вцепился рукой в свои волосы.

– Ой, правда! – заскрипел он зубами. – Что же, баба пугливая! Мужик и тот погнется, а она? Ну, ну!

– А выкрасть можно? – спросил Неустрой.

Панфил закрутил головой.

– Не! Кабы она одна там была, а их теперь шесть! Выходит, пять стерегут. Так-то ли завоют... ой! А по саду псов спускаем. Такие лютые...

– Слушай, – порывисто вскакивая, произнес Мирон, – ты вот нас узнал. Мы добрые молодцы. Живем весело, ни о чем не тужим; голову на плаху готовим, а дотоле сами себе бояре. Ты же холоп, из батожья не выходишь. Хочешь идти с нами?

У Панфила вспыхнули глаза.

– Возьми, атаман! – сказал он.

– Ну и возьму! Помоги Акульку изъять. Для псов мы тебе зелья дадим, ты их угости, они и стихнут, а там – проберись только да Акульке шепни: готовься, мол. Нонче в ночь! А?

Панфил заскреб в затылке.

– Оно, положим, коли ежели... – начал он.

– Хошь али нет? Решай! – резко спросил его Мирон.

– Да, что ж... я... пожалуй!

– Ну вот!.. Теперь слушай!

И Мирон стал объяснять Панфилу, что и как он должен сделать, в какие часы, и потом учить, как подавать сигналы.

– А коли не сладится дело наше, – грозно окончил Мирон, – ну и попомнит меня боярин в те поры!.. Иди!!..

Панфил поклонился и, выбравшись из рапаты, снова засверкал голыми пятками.



## VIII

### Отъезд

Как в канун 26 апреля шло великое прощание по всей Москве с пьянством и буйством, так творилось и в канун 1 мая, дня, когда выезжал в поход царь со своим двором. Любя пышность и блеск, видя в них величие своего звания, царь обставлял всякий свой выезд великими церемониями с массой участников. Сборы же в далекий поход были уже немалым делом.

Снаряжались целые обозы, два полка в проводы; царь брал с собой и ближних бояр, и окольных, и постельных, и дворян, и стольников, и кравчих, а челяди без счета, – и каждый боярин, в свою очередь, не говоря о личном отряде, забирал и обоз, и ближних, и челядь.

И все это снаряжалось, суеилось, прощалось.

Царь, совершавший первый поход, горя желанием славы, ездил молиться в Угрешский монастырь, потом к Троице-Сергию, а потом, думая о семье и дорогом стольном городе, держал думу с боярами и другом своим, патриархом.

Еще задолго до отъезда правление на время отсутствия царя было поручено боярам князьям Ивану Васильевичу Хилкову и Федору Семеновичу Куракину да ближнему боярину Ивану Васильевичу Морозову.

Они стояли теперь перед царем, а он умильно говорил им.

– Други, послужите мне правдой. Берегите царство, Москву-матушку и государыню-царицу. Коли что худое, упаси Господи, – царь набожно перекрестился, – приключится, не мешкая мне отписывайте. А еще прошу обо всем пресвятому отцу нашему докладывайте и ему, как мне, доверяйте!

– Холопишки твои! – отвечали бояре, земно кланяясь царю, и в то же время угрюмо косились на патриарха.

«Ишь, слеток! Ведал бы, кlobук, свои поповские дела, мало ли их: все монастырские дела и в их землях воровство всякое под его рукой. Так нет! В государское суется, и царь у него, что воск в руках».

А патриарх сидел рядом с царем молчаливый, строгий, с сияющим крестом на груди, а об локоть с ним стоял отрок с драгоценным посохом.

– Так! – с просиявшим лицом говорил царь. – А ты, отче, – обратился он к патриарху, – молись за нас и блюди за делами своим светлым оком. На место отца родного Господь послал тебя на пути моем!

Никон смиренно склонил голову.

– Я слуга Господа моего, и не в меру превозносишь ты, царь, монаха сирого. За тебя же, государыню-царицу и деток твоих я всегда неустанный молещик, а что до делов государских, так мне ль со скорбным умишком править ими. На то бояре твои поставлены.

Бояре только переглянулись между собой и усмехнулись в бороды. Короткое время на Москве патриарх новый, а они уже слышали его лисьи речи да узнали волчью хватку.

В эту ночь царь провел время со своей женой, весь вечер потешаясь в терему с сестрами-царевнами и своими детьми.

И каждый боярин делал в своем дому последние распоряжения.

Боярин Морозов, Борис Иванович, мрачный сидел в своей горнице у письменного стола, откинувшись в креслах. Правая рука его лежала на столе, левая на локотнике, и он хмуро глядел на боярина Матюшкина, который теперь походил не на воеводу, а на трусливого холопа.

Он стоял перед боярином, немного нагнувшись вперед, словно боясь своего толстого пуза; лицо его, поднятое кверху, выражало подобострастие, и он говорил, внутренне дрожа за каждое свое слово.

– Ничим-ничего, боярин, вот те крест святой! Чиста твоя боярыня.

Морозов нахмурился, и Матюшкин, словно поперхнувшись, заговорил торопливо:

– Его всяко пытал: и с дыбы, и с кобылы, и длинником, и плетью; огнем жег! Хоть бы что. Опять же девок сенных, что от терема взяли, тож пытал полегоньку. Визжат, а слов никаких... в улику-то. Бают все: для торго ходил, и я так чаю, боярин...

– Чай про себя, – сурово остановил его боярин, видимо просветлев душой.

Матюшкин съежился и угодливо поклонился.

– Так вот! – Боярин подумал и сказал: – Этого англичанина пошли в Тобольск. Пусть там поторгует! Завтра тебе царский указ перешлю. Теперь иди!

Боярин встал. Матюшкин, сгибаясь, приблизился к нему и поцеловал его в плечо.

– А девок я по вотчинам разошлю. Перешли их на двор ко мне, – добавил боярин.

– Как повелишь, государь!

Матюшкин, пятясь, выбрался из горницы и едва дошел до сеней, как пузо его уже лезло вперед, голова задралась кверху, и он медленно, важно поворачивал по сторонам свои масляные глаза.

Боярин Борис Иванович со вздохом облегчения провел рукой по лицу, и под его седыми усами мелькнула улыбка. Но не стало от этого моложе и краше его суровое лицо. Тяжелой поступью он перешел узкие переходы и поднялся по лесенке в терем молодой жены.

А Матюшкин ехал верхом на сытом мерине в высоком седле, что в кресле, и думал про Акульку, не подозревая никакой беды и огорчения...

Молодой князь Петр Теряев-Распояхин проснулся, когда майское солнышко уже играло на небе, быстро вскочил с постели и торопливо захлопал в ладоши.

На его зов в опочивальню вошел невысокого роста, с маленькой головой и широченными плечами мужчина и, ухмыляясь в густую русую бороду, сказал:

– Заспался, князюшка?

– Ай, Кряж! – воскликнул князь. – Да как же ты меня не побудил?

– Батюшка не приказали.

– А он вставши?

– Эй! – Кряж махнул рукой. – Уехавши давно: и батюшка, и братец!

Петр всплеснул руками:

– Что ж ты это сделал! Теперь запозднюсь – что будет!

– Небось! – усмехнулся Кряж. – Ты одевайся только, а я уже все обрядил. Пожди, pošлю отрока!

Кряж вышел, и на место его вошел мальчик с тазом, рукомойником и шитым полотенцем на плече.

Князь поспешно умылся и начал одеваться. Мальчишка стоял разинув рот, и выражение восторга все яснее и яснее отражалось на его лице по мере того, как князь надевал походные одежды.

И было отчего прийти в восторг и не дворовому мальчишке.

В зеленых сафьяновых сапогах, в желтых шелковых штанах и в алом кафтане, стянутом зеленым поясом, молодой, статный, красивый, с курчавой головой и ясным горящим взглядом, Петр был как майский день.

А когда он пристегнул короткий меч к поясу и засунул за него два пистолета, когда на плечо накиннул, продев руки, дорогую кольчугу из стальных с золотой насечкой чешуек да взял в руку плетъ и блестящий шлем, с ясной, как молния, стрелкой, мальчишка даже вскрикнул:

– Ой, ладно!

Князь весело засмеялся и, кивнув ему ласково, побежал на двор, где Кряж ждал его с двумя оседланными конями.

Сам Кряж оделся тоже в поход, на нем поверх кафтана были из сыромятной кожи латы, железный черный шлем с надзатыльником и наушниками покрывал его голову, за поясом тор-

чало два ножа, за плечами висели кривой лук и саадок со стрелами, а на кисти руки висел шестопер<sup>4</sup> фунтов в семь, а не то и в десять.

Этот Кряж, по прозвищу, а именем Федька, был назначен стремянным к молодому князю, едва тот сел на коня. Без роду без племени, княжеский холоп, он с собачьей преданностью привязался к красавцу юноше и теперь впервые отправлялся с ним в поход.

На дворе толпилась челядь, а впереди всех стоял старик Эхе с красавицей Эльзой и Эдуардом.

– А, вы тут? – радостно сбегая к ним, воскликнул Петр.

– Вышли проститься и пожелать удачи, – вспыхнув, сказала Эльза.

– Привезу тебе подарок, – улыбнулся Петр. – Ну, простимся!

И, обняв Эльзу, он звонко поцеловал ее в обе щеки.

Эдуард крепко обнял его.

– Если будешь в Вильне, – сказал он, – посмотри мастеров тамошних, бают, знатно малюют.

– Кто о чем! А ты, Иоганн, чего хочешь?

Глаза старого рейтара разгорелись.

– С тобой ехать! – воскликнул он. – Да! Почему же мне не ехать? Donner wetter! Каролина плачет! Фи! Эди больной! Ему что. Каролина покойна! Да! да!

Лицо его разгорелось. Он тряс плешивой головой, а седая борода развевалась.

– Да, да! Еду! – повторил он, в то время как челядь смеялась, видя его волнение.

– Папа, – обняла его Эльза, – успокойся, милый! что говорил тебе князь? Ты один тут защитник!

– Раньше! Теперь князь Терентий тут! – не унимался старик.

Петр наскоро поцеловал его, вскочил на коня и поскакал в ворота.

– Догоню! – крикнул ему вслед Эхе.

– Опоздаем! – испуганно говорил князь, гоня коня.

– А ты и не поснедал ничего? – заботливо спросил его Кряж.

– До того ли! О господи! – воскликнул он с отчаяньем, затягивая поводья.

– Не бойсь, княже, поспеем, – успокоил его Кряж.

Толпы народа, спешащего к кремлевским воротам, перегородили им путь, и они принуждены были продвигаться шагом.

Было уже десять часов утра, когда они подъехали к воротам и должны были тотчас спешиться, потому что выезд уже начался.

В воздухе гудели колокола, смешиваясь с нестройными звуками рогов, тулумбасов<sup>5</sup> и барабанов.

Из Никитских ворот медленно выступили конные всадники в медных кольчугах, и в воздухе заколыхались знамена. Всадники проехали; за ними, высоко держа царское знамя с изображением золотого орла, ехал толстый высокий богатырь-знаменосец, а следом конюхи по двое в ряд повели шесть царских коней.

– Ишь ты, – пробормотал Кряж, и его голос слился с радостным криком народа.

Действительно, зрелище было необыкновенное: шесть коней с высокими седлами, покрытые алыми бархатными попонами, фыркая и играя, шли на длинных шелковых поводях.

Их попоны с золотыми орлами были все затканы драгоценными камнями, на красивых головах торчали султаны из белых перьев цапли, с самоцветными камнями на гибких проволоках. Копыта их были золочены, а ноги все обвиты драгоценным жемчугом.

---

<sup>4</sup> *Шестопер* – боевое оружие, род булавы с головкой из шести металлических ребер.

<sup>5</sup> *Тулумбас* – большой турецкий барабан, использовавшийся как сигнальный инструмент.

Они шли, нетерпеливо мотая головами, и в воздухе весело звенели серебряные бубенчики, которыми были увешаны их головы.

Кони прошли, и за ними в зеленом халате в алмазах, на лохматом коне поехал младший брат сибирского царя, живущий в Москве аманатом<sup>6</sup>, и с ним его свита, в желтых и зеленых кафтанах, в остроконечных шапках, с луками и колчанами за спиной. Потом потянулись гусем восемь дорогих коней, а за ними показалась царская карета.

Народ упал на колени. На каждом коне сидел кучер в драгоценном кафтане из алого бархата, и подле его стремени шел вершник с палкой, обвитой алой тесьмой. В воротах, где маленькая часовня, показалась царская карета. На высоких колесах, вся открытая, она была обтянута алым бархатом, а наверху как солнце горели пять золоченых глав.

Тишайший недвижно сидел на бархатных подушках и благодушно улыбался, забыв на время о тяжести разлуки, о предстоящем ратном деле и упиваясь торжественным чином.

На его лице уже не было слез, которые он проливал обильно, прощаясь с женой, детьми, сестрицами и патриархом.

Он сидел недвижно, в кафтане, сплошь затканном жемчугом, с яхонтами по бортам и середине. На голове его всеми огнями горела высокая остроконечная шапка, опушенная собором. В левой руке он держал золотую державу, а в правой – крест, благословляя им народ.

Вокруг него, пестрея алыми и зелеными жупанами, ехали двадцать четыре гусара, одетых по польскому образцу, с белоснежными крыльями по бокам седел и с длинными жолнерскими копьями.

Коленопреклоненный Петр поднял голову.

Позади кареты ехали боярин Борис Иванович и Милославский, дальше Глеб Иванович и князь Теряев, вот Голицын, Шереметев, Львов, Одоевский, Салтыков, потянулись попарно ближние бояре.

Князь Петр поднялся с колен.

Потянулись вереницей сокольничие, стольники, постельники.

Петр сел на коня.

– Поеду, – сказал он Кряжу, – а ты в обоз. – Он дождался, когда двинулись боярские и дворянские дети, и присоединился к ним.

Горя огнями, сверкая золотом, медленно выезжала царская карета из Москвы, направляясь по Можайской дороге, а из ворот Кремля, на диво народу, еще двигались люди, подводы и лошади. За дворянскими и боярскими детьми конными и пешими отрядами шли боярские ратники, за ними потянулся обоз с царской кухней, шатрами, бельем и одеждами, с боевым снаряжением, с винными и съестными припасами, со столовой и иной посудой, а там стадо быков и овец, клетки с птицей, кони, а там снова подводы с боярским добром.

И до самого вечера двигались через Москву люди и кони, оглашая воздух нестройным гулом голосов, рева и топота.

Кряж нашел княжеский отряд под началом старого Антона и присоединился к нему, усмехаясь веселой улыбкой.

– Чего зубы скалишь? – угрюмо спросил его Антон.

– А весело! – ответил Кряж. – Ровно на свадьбу едем!..

---

<sup>6</sup> Аманат – правитель покоренного народа, взятый заложником в обеспечение верности его народа царю.

## IX

### Сила соломѹ ломит

Темный вечер 30 апреля в канун царского отъезда опустился над Москвой. Рыжий Васька, Тимошкин сын, выбежал играть из дома. Он поймал молодого щенка и четвертовал его в поле, недалеко от «божьего дома», после чего наткнул на палки его голову и лапы и побежал к дому на ужин, как вдруг до чуткого слуха его донеслись осторожные шаги; он тотчас припал к земле и скрылся за толстой липой. В темноте прямо на него надвинулись три тени и остановились шагах в двух, так что Васька даже попятился и, сжав в руке нож, насторожился.

– Рано еще, – сказал один.

– Пожди, сейчас Косарь подойдет. Тогда и двинемся.

Васька задрожал с головы до пят. В одном голосе он признал знакомый. Ему тотчас вспомнились оловянные рубли, за которые отец вздул его так, как может драться только палач, и злоба закипела в его груди.

– Ужо вам, – пробормотал он и подполз ближе.

Знакомый голос сказал:

– Неустрой-то с задов петуха пустит?

– Да, – ответил другой, – как Панфил совой прокричит. Ты только помни: от меня ни на шаг, уведу я ее, тогда воруй, а до того ни-ни!

– Словно впервой, – обидчиво возразил знакомый голос.

Как яркой молнией имя Панфил озарило смышленную башку Васьки.

«Не иначе как у боярина», – решил он тотчас и, отползши шагов пять, поднялся на ноги и пустился к боярскому дому, что стоял особняком за Разбойным приказом, ближе к самому берегу.

Боярин сидел у себя в горенке распоясавшись и, плотно поужинав, допивал объемистый ковш малинового меда.

Глаза его заволоклись, толстые губы расплылись в широкую улыбку, и он бормотал себе под нос:

– А и дурень этот Бориска! Ой, дурень!.. Царский дядька, на государском деле сидит, а все ж дурень. На тебе! По бабе сохнет. Старому-то седьмой десяток идет, а он девку в семнадцать взял. Э-эй! Ты люби баб, а не бабу! – наставительно сказал он наплывшей свече и погладил бороду, широко улыбнувшись.

– Как я! Мне баба тьфу! Сейчас Акулька любя, а там Матренка... Акулька... – Он задумался и покачал головой.

– Кобенится, на ж! Нонче ей подвески дам, а станет опять старое тянуть – плетухов. Да!

Он поднялся, тяжело опираясь на стол, и хотел идти, когда в горницу влетел запыхавшийся Васька и чуть не сшиб его с ног.

– С нами крестная сила! – испуганно воскликнул боярин. – Сила нечистая! Эй, люди!

Васька в желтой рубахе, испачканной собачьей кровью, босой, в синих портах, с ножом в руке, раскрасневшийся и рыжий как огонь, действительно походил на чертенка.

– Нишкни, боярин! – заговорил он торопливо. – Я Васька, Тимошкин сын! Нишкни!

– Уф! – перевел дух боярин. – Чего ж ты, вражий сын, так вкатываешь? Али в сенях холопа нет? Ну, чего тебе?

– Беда, боярин! Слышь, на тебя заговор воры делают. Жечь хотят.

Боярин сразу протрезвел и ухватил Ваську за волосы.

– Заговор? Воры? А ты откуда знаешь? Ну? Ну?

Васька ловко выкрутил свою голову и стал рассказывать, что слышал.

– А Панфил должен им знак подать. Совой крикнуть!

– Панфил! Эвось! Ну-ну! Я ж им!

Боярин подумал и потом быстро сказал, вставая:

– Беги в приказ и накажи, чтобы сейчас сюда десять стрельцов шли. Как придут, пусть у задов от ворот до реки вокруг тына станут и всякого вяжут. Понял?

Васька кивнул и выскользнул из горницы. Боярин злобно усмехнулся и захлопал в ладоши.

На его зов вошел холоп.

– Возьми, Ивашка, еще двух да сымай ты мне Панфила. Скрути и ко мне веди!

Холоп поклонился и вышел. Боярин подпоясал рубаху, надел сапоги и снял с гвоздя толстую ременную плеть.

В сенях послышался шум: боярин сел на скамью и приосанился.

В ту же минуту вошли холопы, толкая перед собой бледного, перепуганного Панфила со скрученными за спину руками.

Он вошел и упал на колени.

– Государь, что они разбойничают! – начал было он, но боярин так махнул плетью, что лицо Панфила разом залилось кровью.

– Я тебе дам, вор и разбойник! – кричал он зычно. – Сам воровское дело против своего государя затеял, да еще воеет! Пес! Волчья сыть! Сказывай, кого криком совиным сюда скликать собирался?

Панфил задрожал как в лихорадке и повалился ничком.

– Смилуйся! – завыл он.

Боярин ударил его вдоль спины:

– Сказывай!

– Молодцы тут, боярин, у тебя девку выкрасть собирались, а худого ничего, ей-господи!

– Бреешь, пес! Какую девку?

– Акульку, государь!

Лицо боярина загорелось злобой.

– Э, так это, может, тот вот, что в приказе помер! Ну-ну! Ивашка, беги на двор да скликай холопов, кого с колом, кого с топором. А вы ждите его! Откуда кричать хотел: со двора али с саду?

– Со двора, государь!

– Ну, ин! Ведите!

Панфила поволокли, а боярин, помахивая плетью, пошел за ним следом.

На дворе столпились холопы, Панфил стоял в середине с вывороченными за спину руками и искоса поглядывал по сторонам, в то время как боярин говорил:

– По пять к каждому амбару, да к клетям идите! Коли где огонь покажется, шкуру спущу! Иди, Ермило, возьми пяток да у ворот стань, а ты, Ивашка, возьми...

В это мгновение Панфил рванулся в сторону и быстрее лани бросился бежать со скрученными руками. На миг все оцепенело от такой наглости, но тотчас боярин оправился и завопил:

– Лови его, держи!

Челядь бросилась вперед беспорядочной толпой, сшибая в темноте друг друга, и в тот же миг в воздухе раздался протяжный, унылый крик совы.

В небольшом домике посреди густого сада боярина сидели четыре молодые женщины. Одна из них, рослая, красивая, со сросшимися черными бровями, беспокойно переходила от окна к дверям, жадно прислушиваясь к тишине.

– Ты чего это так задержалась, Акулька, – насмешливо спросила ее одна, – али боярина не дожدهшься?

Акулина бросила на нее презрительный взгляд.

– И не стыдно тебе смешки делать, Матрена, – заговорила с упреком третья женщина, – ей здесь застенка хуже, с боярином-то, а ты...

– Тсс! – вдруг остановила их четвертая, и все насторожились. Со двора слышались крики, выстрелы, воздух озарился красным светом пожара.

Женщины испуганно сбились в угол, и только Акулька, бросившись к двери, в бессилии билась об ее дубовые доски.

Крики и шум наполнили воздух. Можно было подумать, что огромная шайка чинит свой разбой, а между тем весь этот шум подняли только четыре человека.

Едва закричал Панфил, спрятавшись в густые кусты, как Неустрой подпалил на задах две клетки и скользнул на двор, а со стороны поля через тын вскочили в сад Кистень, Шаленый и Косарь и прямо бросились к домику.

Косарь ухватил свой топор и в три удара сбил висячий замок.

Акулька упала на руки Мирона.

– Не время киснуть, – торопливо сказал Мирон, – бежим!

Но в ту же минуту их окружили боярские холопы.

– Бей! – кричал Ивашка, махая мечом.

– А ну, Косарь, махни! – тихо сказал Мирон.

Топор свистнул в воздухе, и три человека упали на землю.

Мирон с Акулькой отпрыгнули в сторону и быстро достигли ограды.

Но остальные не были так счастливы. Холопы массой навалились на Косаря и Шаленого и опрокинули их. Неустроя с диким визгом ухватил Васька и подрезал ему под коленом ногу.

Боярин велел их привести на двор и, с жестоким глумлением смотря на оборванных, окровавленных разбойников, говорил:

– Ну-ну, исполать вам, добрые молодцы! Ужо вас мой Тимофей Антонович пощупает! Хе-хе-хе! Сведите их в приказ, ребята!

Во время короткого боя Панфил сидел в кустах малинника ни жив ни мертв, потом, немного оправившись, он стал двигать руками, пока не освободил их, и тогда осторожно перелез через тын и пустился знакомой дорогой к Сычу, бормоча себе под нос:

– Ужо, боярин, посчитаемся! И ты, Ивашка! Попомните Панфила-холопа да сестру его Марьюшку!

Той же дорогой к Сычу получасом раньше пришли и Мирон с Акулькой.



## Х Грешники

Медленно разъезжались из государева дворца лица, провожавшие царя в дальний поход. Марья Васильевна, княгиня Терехова, облобызав руки царицы и царевен, вышла по длинным переходам и шла по двору к своему рыдвану; к ней подошел Терентий Михайлович и для прилики больше пошел следом за ней, пока не довел ее до рыдвана.

– В одночасье буду, – сказал он жене и остановился, провожая глазами ее поезд. Восемь вершников побежали впереди, расчищая дорогу, гнедые кони, ведомые под уздцы конюхами, шесть коней гусем, тронулись медленным шагом, и рыдван заколыхался по неровной мостовой, а следом за ним толпой пошли княжеские слуги.

Князь тихо пошел назад ко дворцу и вдруг вздрогнул, увидав молодого Федора Соковнина. А тот шел к нему улыбаясь и говорил:

– А, князь Терентий! Я-то тебя ищу да ищу!

– Зачем тебе я?

Молодое лицо Соковнина осветилось широкой улыбкой.

– Сестрица наказала тебя повидать да сказать тебе, чтобы ты после обедни на дом к ей пришел!

Князь побледнел от волнения и даже шатнулся, а Соковнин, понизив голос, заговорил:

– Смотри, так при батюшке и залепила, скажи, мол! Батюшка на нее: срамница ты, говори, этакая, мужа только проводила. А она как глянет... Должно думать, дело у нее до тебя какое! Одначе прощай. Патриарх наказал прийти к нему для чего-то. А он у-ух!!

И Соковнин беспечно пошел к коням, окруженным слугами, но Терентий его перегнал, махнув рукой своему стремянному. В нетерпении он едва имел силы перейти Кремлевскую площадь, а потом вскочил на коня и бешено погнал его за Москву-реку.

Не до обеда ему было. Сердце его вспыхнуло, и голова закружилась. Он не помнил себя от безумной радости, и тяжелые мысли, угрызения совести оставили его душу.

– Любит! Моей будет! – шептали его губы, и он скакал вдоль берега, подставляя разгоряченное лицо свое порывам ветра.

До кровавой пены гонял он коня и потом, повернув его, тихим шагом поехал к Москве, думая о дорогой боярыне.

Но когда перед ним, за кустами молодой зелени, показались красные и зеленые крыши морозовского дома, сердце в нем замерло, и он придержал коня. Мысль о своем окаянстве на миг мелькнула в его голове, но он тотчас отогнал ее, сжал коленами бока коня и рванулся к воротам.

От ворот тотчас отделился морозовский слуга Иван и, приветливо улыбаясь, сказал князю:

– А я уж тут жду тебя да жду! Иди, князь, через красное крыльцо прямо. Там тебя девушка проведет.

Князь отдал слуге коня и, быстро перейдя двор, взбежал на высокое и широкое крыльцо.

– Сюда, княже! – сказала ему красивая девушка и легкой поступью пошла перед ним.

Князю Терентию опять на миг стало совестно: «Словно вор. Когда хозяина нету, тогда и лазаю...»

Они прошли приемную комнату, большую трапезную, горницу, где боярин делами занимался, опочивальню и вошли в моленную.

– Здесь! – сказала девушка и скрылась.

Терентий суеверно огляделся по сторонам. В комнате, устланной коврами, стоял аналой, а на нем лежало большое Евангелие, редкость того времени. Весь правый угол и смежные с

ним стены были доверху завешаны образами, крестами и складнями. Они горели драгоценными огнями при трепетном свете нескольких лампад, и вся комната, слабо освещенная светом, проникавшим через круглые разноцветные стекла одного окна, имела торжественный вид тишины, покоя и святости.

Терентию сделалось тоскливо и тяжело.

Боярыне Федосье Прокофьевне был об эту пору всего двадцать первый год. Из приближенного к царской семье роду Соковниных, семнадцати лет вышла она замуж на пятидесятилетнего Глеба Морозова, и молодое сердце ее тосковало, не изведав любви. Через год родился у нее сын, Иваша, к которому она привязалась всей душой, но и тут сердце ее не находило удовлетворения. Тогда вдруг ее взор упал на князя Терентия, и сразу словно озарилась ее томная жизнь.

Она на время отдалась мечте и не боролась со своим чувством, наслаждаясь нечаянной встречей в узком дворцовом переходе, тишком наблюдая, как вспыхивает лицо князя, но скоро мысль о грехе заслонила на время ее чувства, и она приказала своему верному слуге Ивану провести князя в сад.

Вся трепеща, не зная твердо, для чего звала она князя, сошла боярыня в сад. Да не знала она силы молодой любви, не знала своей горячей крови, и суровые речи ее и упреки иногда звучали лаской. Корила она князя, а сама любовалась им; бледнела, но слушала его пылкие речи и раза два коснулась его рукой, а наедине со своими думами, в грешных мыслях и целовала его, и обнимала.

Окаянный тешился над ней, а ко всему еще верного ее духовника, протопопы Аввакума, услали в далекий Тобольск за его крепкую веру – и некому было отогнать лукавого.

Ядом напитывалась молодая душа и вдруг прозрела.

Сидела боярыня у колыбельки своего сына Иваша и думала о своем любимом князе, как вдруг ребенок заплакал, да так горько, так жалобно, словно сиротинка.

В другой раз думала о том же князе боярыня, как вдруг вошел в терем сам боярин, тяжело опустился на кресло и сказал:

– Федосьюшка, что это мне вдруг стало так-то недужно, беда! Словно кто за горло душит! – и с этими словами он торопливо отстегнул ворот рубахи, а лицо его все налилось кровью.

И наконец, в третий раз, вот сегодня. В царицыном терему повстречались они с женой Терентия. Грустная она такая, нерадостная.

Царица спрашивает:

– Что, Дарьюшка, какая ты смутная? Али муж не любит?

Она опустила голову низко-низко и ответила:

– Нет, государыня, всем довольна!

Сердце сжалось у боярыни. Как могла она помыслить такое скаредное да еще радоваться! Бесов тешила! Люди в скорбях и слезах, кругом горе, а она еще множить его себе на потеху хотела; душу геенне огненной готовила!.. И, не помня себя, она наказала брату звать к ней князя.

– Все скажу ему, все! – шептала она, идя к своей светлице, и потом молилась: – Не введи меня во искушение, но избави от лукавого!

В горницу вошла девушка и тихо сказала:

– Пришел!

Боярыня быстро выпрямилась.

– Где?

– В моленной!

Боярыня широко перекрестилась и твердой поступью пошла из горницы.

Князь задрожал, услышав шелест платья, и радостно рванулся боярыне навстречу, но едва взглянул на нее, как остановился смущенный.

На лице боярыни не светилась радость; оно было серьезно и торжественно; глаза ее смотрели скорбно и вдумчиво, и, едва войдя, она тихо сказала:

– Прости, князь, что зазвала тебя. Дело есть!

Это так мало походило на любовное приветствие, как самая моленная не соответствовала месту свидания, и князь только смущенно взглянул на боярыню, а та, дойдя до аналоя и положив на него белую руку, заговорила:

– Великое дело, князь! О спасении моей и твоей души! Протопоп Аввакум много раз говорил мне про лукавого. Он-де всяко уловляет души наши: и лукавством, и притворством, и жалобой, и всяко тщится нас с пути сбить, а Христос, батюшка, то видит и горько плачет. А он, лукавый, манит нас телесными прелестями, и златом, и честью, и слабые, забыв про душу, идут в его сети, как глупые перепела к охотнику. Вот, князь, – торжественно сказала она, – то же и с нами было! Кабы не одумались мы, уловил бы нас в тенеты лукавый и не было бы нам, окаянным, прощения! А ныне одумалась. Для чего перед Господом клятву супругу давала, для чего Господь по моей молитве послал мне в утеху сына? Его ли отрину, когда сука и та о щенятах своих печется. И ты, князь, тоже. У тебя молодая жена, дюже красивая, а я ей разлучницей стану? Простимся, князь! – окончила она тихо.

Князь даже пошатнулся от ее речей. Холодный пот выступил на его челе, и голова закружилась. Ведь всю свою душу он положил в любовь эту. Что жена? Что клятвы? Что геенна огненная? Он обрек себя на всякое мученье!

И князь со стоном повалился на колени и поднял руки.

Боярыня тихо отодвинулась и скорбно покачала головой.

– Не убивайся, князь! Того ли убиваться, что от окаянства отступились, блудом не согрешили, беса не утешили? Радоваться тому надо! Каждому от Господа крест свой!

И речь ее полилась плавно, тягуче, зажурчала, что ручей. Она говорила о своем окаянстве, о грехе, который всю жизнь замаливать теперь надо, о клятвопреступлении, разбитых сердцах и усталых душах.

И, слушая ее, Терентий понемногу проникся ее настроением, и ему стало больно и горестно за свое окаянство.

Истинно говорил про боярыню Борис Иванович после беседы с ней: «Насладился я паче меда и сота словес твоих душеполезных!»

А речь ее лилась. Она заговорила о новом времени, готовящем всем верным испытания за веру в Господа. Твердость нужна, чистота духовная, ибо грядет антихрист.

– Смотри, сколько верных уже приняли мученья. Неронов бит шелепами<sup>7</sup>, с цепью на шее, аки пес, ныне в темницу ввержен, Аввакум в Тобольске крест несет в холоде и голоде, а впереди много их, много, и всем Господь уготовит сан ангельский!..

Лицо ее горело, глаза пророчески смотрели вдаль, она словно выросла.

– Время ли предаваться блуду и окаянству, когда скорбь кругом. Там война и кровь льется, там голод, хлад и болезни, всюду плач и стенания, и готовится всем скорбь великая! Так-то княже, – окончила она вдруг усталым голосом, – будем прямить друг другу и честью расстанемся.

– Твоя воля, – покорно ответил князь и, поклонившись до земли, вышел из моленной.

Боярыня долго смотрела ему вслед. Потом лицо ее озарилось улыбкой торжества, и она с чувством сказала:

– Благодарю, Господи, что пособил осилить лукавого!

---

<sup>7</sup> Шелеп – плеть, кнут.

И, упав на колени, она с жаром начала отбивать поклоны, ударяясь с силой нежным лбом о деревянные доски.

А князь медленно ехал на коне домой, и в душе его было пусто, как в склепе. Недавняя радость сменилась гневом и горестью, потом умиление и раскаянье вошли в душу, а теперь... И князь скорбно опустил голову на грудь, не видя ничего ни вокруг, ни перед собой.

Умный конь сам без поводьев шел по извилистым улицам Москвы прямо к дому, и князь очнулся только тогда, когда стремянный принял его коня под уздцы.

Князь сошел на землю и медленно прошел в свои горницы.

## XI

### Око за око

Почти в одно время прибежали к Сычу Мирон с Акулиной и Панфил.

– Ты откуда, песий сын? – воскликнул Мирон, увидев холопа в изодранной рубахе и с окровавленным лицом.

– Оттоль же, откуда и ты, – угрюмо ответил Панфил, – ишь, как меня боярин употчевал. Мирон подозрительно посмотрел на него.

– Не с твоей ли охоты?

Панфил изумился.

– Белены я, что ли, объелся? Как это он меня саданет. Рраз! Сказывай, гыт. Я его на двор, а сам в бега. Слава Господу, не поймали.

– А то?..

– Кожу бы снял, – угрюмо ответил Панфил и, обратясь к Сычу, сказал: – Старичок, дай рожу обмыть!

Старый Сыч прищурил свой единственный глаз.

– Думаешь, краше будешь, – усмехнулся он, ты погляди, как надулась-то! Мази тебе, мил человек! – с убеждением заявил он. – Пойдем, что ли.

Мирон взглянул на Акулину и покачал головой.

– Думал, что он нас предал, а нет. Кому ж бы?

Он задумался, но через минуту тряхнул головой.

– А! Бес с ним! Ну, рада, лебедушка? – Он ласково посмотрел на Акулину. Та вспыхнула и горячо обняла его.

– Везде за тобой пойду! В огонь, в воду води. Холопка я твоя, кабальная!..

– А боярин понравился? – усмехнулся Мирон. Акулина грозно выпрямилась.

– Чтобы сдох он, старый пес, – злобно произнесла она, – греховодник! Сколько он душ загубил. Возьмет из застенка, да и в полюбовницы себе, а жену насмерть бьет. Я бы ему! – И она так выразительно вытянула свои сильные руки, что боярин Матюшкин, увидя ее, замер бы от страха.

– Небось, – сказал, входя в горницу, Панфил, – он и от меня попомнит!

Мирон приветливо кивнул ему головой.

– Садись, Панфил, вместе чару выпьем. Я, признаться, думал – ты нас боярину выдал, да, вишь, прошибся. Эй, Сыч, давай вина, пока гостей нету!

Сыч тотчас поставил чарки и красулю<sup>8</sup> и сам подсел ближе.

– Взяли-то кого? – спросил он.

– А всех, – ответил Мирон. – И Ермила, и Сеньку, и Федьку.

– Хорошие ребята! – покачал головой Сыч.

– Вот уж дознаюсь, что с ними. Ночь придет – выберусь, – сказал Мирон и прибавил: – Наше дело такое: из честного пира да на виселицу!

Панфил усмехнулся:

– А я на виселицу не пойду!

– Поволокут волоком. Ну, пей, что ли, а там и поспать малость надо!

В это же время в страшном застенке перед самым боярином стояли Косарь, Неустрой и Шаленый. Тимошка с мастерами готовил дыбу и следил за железными щипцами, что накали-

---

<sup>8</sup> Красуля – (красоуля) большая монастырская чаша.

вались в горне, и тут же вертелся рыжий Васька, которому в награду боярин разрешил впервые участвовать в работе.

– Ну-ну, соколы, – сказал боярин после целого ряда вопросов, на которые все трое хранили упорное молчание, – не хотите говорить с боярином, поговорьте с плетью. Ну-кась, Тимоша!

Тимошка грубо схватил за плечо Неустроя и дернул его к дыбе.

Начались мученья, мученья, которых уже не в силах теперь представить самая пылкая фантазия!

Матюшкин слушал стоны и ухмылялся.

– А, песьи дети, умели воровством заниматься, умеете и ответ держать! Я вас, окаянных, огнем еще! Ну, ну, Тимоша!..

И Тимоша старался.

Прошло три дня. В глухую полночь к калитке рапаты подходили люди поодиночке и по двое и трижды ударяли кольцом.

Калитка растворялась, кто-то в темноте держал за цепь рычащего и рвущегося злого пса и, впуская посетителя, говорил тому:

– В баню!

Посетитель переходил двор, обходил рапату, из которой еще слышались пьяные голоса гостей, и шел прямо к одинокому строению на задах дома.

Там он снова стучал и входил уже в горницу, где за столом, при свете лучины, сидели люди всех цветов и возрастов и пили.

Во главе стола сидел Мирон с Акулиной, неподалеку Панфил; сидели в сермяжных зипунах и тонкого сукна поддевах, просто в пестрядных рубахах и в купеческих кафтанах, с широкими шарфами вместо пояса.

– Ты возьми, – говорил мещанин с жаром старику в суконной однорядке, – теперь аршин свой удумали, бесы. А для чего? Чтобы с нас, голова, алтыны тянуть!

– Чего? – вмешался другой. – За то, что скотину из реки поишь, берут, подать дерут!

– Опять. Ты, говорит, взял пятак, а чти его за рубль. А подать неси рублем настоящим. Это что ж? – И купец, сказавший это, развел руками.

– А все ж погодить надо, – авторитетно заявил Мирон, – царя нет. Что без царя толку? Народ поднимем, а кому жалиться?

– Без царя нельзя! – согласились все.

– Теперь Морозова, дядьку, посадили в совет, Хилкова, а они что ж? Те же воры!

– А по приказам что! – воскликнул мужичонка. – Какое! Брательку моего на правее о сю пору держат. Ну, побей и брось! А они третью неделю! Нешто выбьют!

– Подожди, уж мы выбьем! – усмехнулся его сосед.

– А теперь вот что, – сказал Мирон, – на что званы. Нынче утром наших трех казнить будут. Так отбить их.

– Это что же... можно, – заговорили кругом.

– Вот и надо! – продолжал Мирон. – Мы, значит, пойдем и в круг станем. Как это их приведут, сейчас пожар кричите и смуту делайте, а я тут уж управлюсь! Дружно только.

– Знаем, не учи! Что это ноне Сыч лениво вино носит.

– Приказные у него закурили, – объяснил Мирон, и минуту спустя беседа полилась снова о непорядках, податях и всяких утеснениях.

Сразу нельзя было разобрать, что за народ собрался на эту сходку: просто недовольные люди или разбойники, каких тогда на Москве было до того много, что людей убивали прямо на улицах.

Уже в рапате смолкли пьяные голоса и гости, бранясь и толкаясь, ушли из нее по своим домам. Сыч и мальчонка спали в горнице, и две размалеванные бабы, положив головы на зали-

тые вином столы, оглашали храпом унылое помещение, когда люди, сидевшие в бане, обменявшись последними словами, стали тихо поодиночке выходить на улицу...

Рано утром дьяк Травкин, стоя посреди двора Разбойного приказа, читал приговор, скрепленный временными правителями, Ермилу Косарю, Семену Шаленому и Федору Неустрою.

– А также за разные скаредные и воровские дела тем вора, Ермилу, Семену и Федору, правые руки отсечь и, кнутом бивши, в Сибирь послать, дабы вперед теми делами скаредными не занимались.

Ермил, Семен и Федор со скрученными за спину руками, босоногие, в окровавленных портах и рубахах, с обезображенными лицами и опаленными волосами стояли потупив головы.

– Исповедаться хотите? – спросил их дьяк.

– Хотим, – хрипло ответил за себя и товарищей Семен.

– Идите!

Их привели в воеводскую избу, где у аналая стоял поп в епитрахили.

А тем временем ворота скрипя отворились и из них выехали телеги, нагруженные всеми приспособлениями для казни.

На бортах телеги в красных рубахах сидели три заплочных подмастерья и Тимошка.

Скоро приговоренные вышли на двор. Их окружил небольшой отряд стрельцов, и шествие тронулось на Козье болото в сопровождении дьяка.

Едва застучали топоры на поле, где мастера расположились расстилать помост и ставить кобылу (толстое бревно на четырех подставках с кольцами для поручней), как со всех сторон стал стекаться народ, охочий до зрелища, а тем более кровавого.

– Кого казнить будут? – спросил молодой парень у подмастерья.

– Дяденьку твою да тебя в придачу!

– Тьфу, оглашенный, – сплюнул парень, – чтоб у тебя язык отсох!

– Нам бы руки только, – засмеялся другой палач.

– Эй, красная рубаха, – закричал голос из толпы, – когда тебя вешать будут?

– За тобой следом! – ответил весело палач, вколачивая в помост последний гвоздь.

– Ведут, ведут! – слышались голоса, и толпа разом обернулась спиной к палачам и разделилась надвое.

Осужденные шли, понуриив головы и искоса бросая по сторонам взгляды. Вдруг у самого эшафота толпа так плотно сбилась, что стрельцы невольно отодвинулись; в тот же миг над ухом Федора раздался ободряющий шепот:

– Гляди в оба, Неустрой. Свои не выдадут!

Федор сразу выпрямился и толкнул своих товарищей.

Их ввели на помост к плахе, и дьяк снова начал читать приговор, но в это время сзади раздался крик:

– Пожар!

В ту же минуту толпа, теснимая кем-то, кинулась через помост к реке. Все смешалось. Тимошка неожиданно получил страшный удар в грудь, стрельцы, сбитые в сторону, не могли соединиться, а брошенный на помост дьяк сипло орал:

– Держите! Ловите! Воры!

В этой суматохе невидимый нож разрезал веревки на руках осужденных, на плечах их очутились кафтаны, на обнаженных головах шапки, и они тотчас замешались в толпу, которая с воплем валила за Москву-реку.

А там, расстилаясь по небу черным облаком, клубился дым над разгоревшимся пожаром, который охватил дома на Балчуге, подле Китай-города.

## XII

### В походе

Князя Петра Теряева все занимало в походе, и он рвался скорее увидеть врагов и сразиться с ними. Когда он только слушал рассказы воинов, вся кровь в нем закипала и он до половины обнажал свой меч. Выехал он из Москвы в длинной веренице дворянских и боярских детей, которые в то время служили при царе чем-то средним между адъютантами и курьерами. Царь в походе поручал им и передать приказание тому или другому начальнику, и скакать порою из-под Смоленска или из Вильны с грамоткой к патриарху.

Из огромной кавалькады, человек в двести-триста, князь Петр знал очень многих и сейчас же сблизился с ними. Все они были почти ровесниками, все большей частью из московских дворян и все впервые были в походе и рвались в бой.

Время было военное. С 1612 года почти без перерыва шли войны: то с поляками, то с крымцами и татарами, с башкирами; на рубежах были непрерывные схватки, умирляли бунтовщиков, ловили разбойников.

В войске было немало старых вояк, бывших не в одном походе, и вот на остановках они собирали вокруг себя молодежь и рассказывали им про жаркие битвы.

Разгорались тогда у юношей взоры, руки сжимали рукояти сабель, и так бы и полетели они в бой переведаться с ляхом.

Поезд двигался с необыкновенной пышностью и медлительностью, царь ехал то на коне верхом, то в колыхаге, порой в дороге развлекался соколиной охотой и все время весело шутил со своими боярами.

К вечеру, выбрав просторное место, останавливались на ночлег.

Воздвигался царский шелковый алый шатер с пятью главами, в десяти саженьях от него разбивали шатры ближние бояре кругом, далее, шагах в десяти, ставили шатры иным боярам, тесным кольцом становилась вокруг стража, а там раскидывались палатки, просто копались ямы, устанавливались возки иных всех людей, и пылали костры, готовился ужин, и шла бражна до самой до полуночи. Но царь был умерен в еде и питье.

Он любил тихую, мирную беседу, любил веселую шутку, молодецкую потеху и, позабавившись, отсылал всех на покой, а сам потом садился писать письмо патриарху Никону, без чего не мог провести одного дня.

Бывший смиренный кожеозерский игумен совершенно подчинил себе молодого царя, который считал его вторым отцом.

В первую же остановку царь за трапезой благодушно сказал Теряеву:

— А что же, князь Михайло, ты мне сына-то своего не кажешь? Али не взял его с собой?

Князь поклонился земно царю и ответил:

— Ждал, государь, твоего слова ласкового. Повелишь звать, в ту же минуту явится. Нам ли, твоим холопам, это не счастье?

— Веди, веди, — сказал царь.

Князь бросился из палатки за своим сыном.

Царь не ожидал увидеть такого красавца. С лицом ясным, как месяц, молодой и смущенный, богатырь по сложенью, князь Петр опустился перед царем на колена и крепко бил ему челом, звеня своей кольчугой.

— Ай, князь, — с улыбкой сказал царь, — и такого молодца от меня прятал! Встань, сокол, подойди к руке! — И он милостиво протянул молодому Петру свою пухлую руку, которую тот накрепко поцеловал.

— Красавец! Совсем витязь! Ну, княже, при мне будешь! Брат твой был мне постельником, теперь ты будешь. Эту ночь со мной спи!



Князь-отец земно поклонился царю, слыша про такую милость к его роду, а царь ласково ему сказал:

– Истинно ты царский слуга, что даешь ему таких молодцов! А наемни твой Терентий мне письмо отписал. Таково-то ладно составлено. Ума палата! А этот, видно, в силу пошел.

Морозовы сумрачно переглянулись между собой. Уж не новый ли приспешник им на шею? Царь ласков и милостив, полюбив, ничего для любимого не жалеет. Вот хоть Никон! Словно сам государь, такую власть забрал себе в руки.

– Не бойсь, – с усмешкой сказал им Милославский, – Теряевы не такие! В жизни не лукавили и ничего от царя, кроме ласки, не ищут. Не то что мы, грешные, – усмехнулся он в бороду.

Царь ушел в опочивальню вместе с Петром и, возлегши на свою постель, долго беседовал с ним.

Сначала так его про все расспрашивал да вдруг нечаянно узнал, что Петр ловок в соколиной охоте – и разгорелся весь сразу.

Ничто для царя не было милее этой охоты.

Сотни соколов держал он у себя в Коломенском, из далекой Сибири с великим бережением везли к нему соколов и кречетов, и в заботе о них он часто забывал государские дела, как теперь забыл про поздний час.

И Петр любил эту забаву. Под Коломной и у него с отцом было немало соколов. Знал он все их повадки, каждую приметку хорошего охотника. Умел учить сокола и лечить его и беречь, а случаев занятных у него было не меньше, чем у царя.

– Ужо, ужо, – говорил ему царь, сидя на постели и широко смеясь, – покажу я тебе своих соколов. Подивишься! Здесь с собой не взял любимых, боюсь, не уберегут, а как вернемся с Божьею помощью, покажу тебе свою охоту.

– Ты к нам, государь, я тебе своего налета покажу. По десяти цапель бил – вот! Налетит, раз ударит и прочь! А чтобы когтить когда, ни в жизнь!

Он говорил с царем, совершенно забыв разницу лет и положений, и царь, строгий к этикету, даже не заметил его непочтительности к сану.

– Каждую ночь чтоб со мной князь Петр ночевал, – отдал он приказ на другое утро, и все дивились такой милости.

День за днем, хотя и медленно, сокращалось расстояние, и царь приближался к Вязьме, где ожидало его все войско, с князем Трубецким во главе.

На огромной равнине раскинулось оно боевым станом. Кругом на несколько верст пестрели палатки, стояли возы, длинными рядами тянулись коновязи и, словно сказочные чудовища, стояли длинные пушки на десяти, двенадцати и шестнадцати колесах. В середине стана высились четыре палатки князя Трубецкого с хоругвью, данной в поход самим патриархом.

– Что ж это, – ворчал каждый день князь Щетинин, – время идет да идет. Гляди, уже две недели, как стоим!

– А тебе не терпится, – ухмылялся боярин Долматов.

– Не то! А Смоленск поди крепится теперь. Нам бы на него в одночасье, а тут жди!

– Войска мало!

Князь только сердито взглядывал на боярина и отходил недовольный.

Собственно, и князь Трубецкой начинал уже тяготиться бездействием в ожидании царя. Главная беда была в том, что в полках от праздности стали заводится пьянство, ссоры и буйство.

Стрельцы начинали выказывать строптивость, своевольничать, и не будь их головы, Матвеева, никому бы не управиться с ними.

– Без тебя хоть волком вой, Артамон Сергеевич! – говорил ему князь.

Матвеев улыбался ясной улыбкой и говорил:

– Ведомо, народ озорливый, да зато и не лукавый. Все в открышку. А в бою – не будет равного!!

– А как это ты с ними управляешься? – удивлялись все другие начальники.

– А правдой! Созову их в круг. Так, мол, и так. Негоже! Когда усовешу словом, тогда и казнить велю. Лишь бы по правде, а не в сердцах...

– Едет! – сказал раз Трубецкому высланный им в дорогу гонец.

Князь тотчас поднял всех начальников. Торопливо стали строить войска, выставили знамена.

Князь с Щетининым, Долматовым и Карповым выехали далеко из лагеря и стали на дороге в пыли на колени, едва завидели приближающегося царя.

Он быстро, как ветер, донесся до них на своем аргамаке, соскочил с коня и дружественно облобызался с военачальниками.

– Что, заждались? – весело спрашивал он, окруженный ими.

– Твоя государева воля, – ответил князь Щетинин, – а боимся, что ляхи зело укрепились в Смоленске.

– Выбьем! – уверенно ответил царь и весело взглянул вперед, где вся равнина словно поросла блестящими копьями и алебардами.

– Экая силища у нас, да во славу Божию Смоленска не взять! – смеясь, снова повторил он и сел на коня.

Едва приблизились они к лагерю, как раздались приветственные залпы из пищалей, заиграли трубы, загудели барабаны, зазвенели литавры и, покрывая тот шум, вся равнина огласилась криками радости.

Вяземцы стояли на коленях, держа на головах блюдо с хлебом-солью и золотыми монетами.

Царь был доволен и весел.

– Ну вот, отдохнем, да и на ляхов, – говорил он своим нетерпеливым полководцам, – а успех нам будет. Патриарх за нас молится...

Ему отвели помещение в самой Вязьме, и в городе на радостях видеть царя жгли смоляные бочки, угощали нищих и поили ратных людей.

В Вязьму друг за другом прибыли и наемные войска. Генерал Лориан привел с собой 1000 пехотинцев, генерал Спемль – 1500 конных драгун да Кильзикей 1000 гусар на великолепных конях, в отличном вооружении.

– Милости просим, – встречал генералов радушно царь, – будем вместе бить ляхов, только одно прошу: не затевайте ссор промеж собой!

И потом наедине он говорил то же князю Трубецкому:

– Пуще всего этого двоедушия не терпи. Быть без мест сказано, и как кто супротив тебя будет, мне говори! А то не будет ладу, как при батюшке под Смоленском!

Через три дня войско выступило в поход.

Давно в Вязьме не видали такой несметной, такой грозной рати. Конные, пешие стройными рядами шли, шли и шли, один полк сливался с другим, и, кажется, конца не виделось этой лавине вооруженных людей. И лица у всех горели одушевлением.

Наконец-то их ведут после долгих роздыхов и проволочек прямо в бой на ляхов, которые в ту пору были так же ненавистны русскому, как ныне французам немец.

## XIII

### Под Смоленском

Царь захотел первым увидеть Смоленск и ударил плетью своего коня. За ним понеслись военачальники, Морозовы, Милославский, Теряев с сыном и целый отряд боярских детей. Царь въехал на высокий курган крутого днепровского берега и осадил коня. Ярко горело утреннее солнышко, весело освещая окрестности, золотыми иглами сверкало оно в водах Днепра, но и под его веселыми лучами огромный Смоленск казался угрюмым и мрачным, великим и грозным, как старый воин, покрытый рубцами и шрамами недалеких битв.

Окруженный окопами и рвами, далее – рядом городков, еще далее высокой каменной стеной с башнями и бойницами, стоял он неуклюжий, широкий и грозно безмолвный.

Так и чувствовалось, что там, за стенами, здесь, в городках и окопах, притаилась немалая сила. Дай знак, и засверкает из окопов огонь, из бойниц и башен полетят смертоносные ядра и земля задрожит от грохота пушек.

Царь долго безмолвно смотрел на город, потом отыскал глазами князя Теряева и спросил его:

– Помнишь, князь, места эти?

Князь тяжело переводил дух от волнения.

– Мне ли не помнить, государь, – глухо ответил он, – этих мест. Вот словно бы сейчас переживаю все день за днем.

И, указывая плетью на окрестности, он стал рассказывать, где были наши окопы. Вот здесь стоял Шеин, здесь Измайлов, на этом холме Прозоровский, а здесь фон Дамм и Лесли. Мертвой петлей окружили город, брешь в стене уже пробили, напасть бы и взять!.. Уже торжествовали победу, и вдруг – помощь... Явился Сигизмунд со своим войском... Сразу все...

Вот был день, когда поляки в город пробились!.. Днепр потек кровью, а не водой, земля дрожала, убитые лежали грудями, и за ними бились поляки, и все переменилось. Стали наших теснить. Одно за другим оставляли мы свои укрепления, сбились все в одну кучу... мороз, голод, позорная сдача...

И при этих тяжких воспоминаниях слезы выступили на глазах князя Теряева.

Все ему вспомнилось.

Ох, Смоленск, Смоленск, горемычный город земли Русской, в боях иссеченный боец! Много ли еще городов таких, как ты? Вся твоя жизнь кровью записана на страницах истории. В тяжелое Смутное время, стоя на рубеже меж Русью и Польшей, переходил ты из рук в руки всегда после кровавого боя, всегда обращенный в пепелище, залитый весь кровью. Недолго потом оставался ты в руках русских: взяли тебя снова поляки, несмотря на геройскую защиту Шеина. Вскорости тот же Шеин пришел за тобой и громил твои стены, морил голодом твоих защитников, проливая потоками кровь русскую и поляков. Царь Алексей отнял тебя и укрепил навеки за Русью.

Сто пятьдесят лет цвел ты, рос и украшался, пока не наступил страшный двенадцатый год, и снова ты был обращен в развалины и пепелища, и снова залился кровью...

И нет в черте твоей пяди земли, не напоенной кровью своих и врагов.

Слава тебе, железом и огнем крещенный Смоленск!

Царь поднял голову и глухо спросил князя:

– Что же, не изменник Шеин, если он до самых стен дошел и остановился?

– Нет, – твердо ответил князь, – всегда он прямил царю своему, а тут замешкался, да и рознь вокруг, свара промеж начальников. Строптив был боярин и на Москве врагов имел много!

Царь кивнул головой.

– Нет ничего хуже розни! – тихо промолвил он и прибавил, набожно крестясь: – Упокой душу, Господи, раба твоего Михаила!

Князь следом за ним перекрестился.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.